

18+

Цви Найсберг

О книгоедстве



Цви Найсберг О книгоедстве

<https://litres.ru/74151339>

ISBN 9785007010665

Аннотация

Цивилизация и культура вовсе не составляют некоего цельного и более чем вполне безупречного единства. Скорее, это две резко разделенные между собой части всего этого нашего современного нам бытия, лишь внешне и довольно грубо скрепленные между собой.

О книгоедстве

Цви Владимирович Найсберг

© Цви Владимирович Найсберг, 2026

ISBN 978-5-0070-1066-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*«Чудак человек — кто ж его посадит? Он же памятник».
Фраза Савелия Крамарова из фильма «Джентльмены удачи».
Ироничный эпиграф. Автору, точно вот куда, ближе нечто
иное:*

«Ну, а я б кой-кому засветил кирпичом».

Игорь Тальков

1

*Цивилизация и культура вовсе так никак не составляют
некоего цельного и более чем вполне безупречного единства.*

*Скорее, это две резко разделенные между собой части
всего этого нашего современного нам бытия, лишь внешне и
довольно грубо скрепленные между собой.*

*Цивилизация по самой своей природе хищна и утилитарна.
Она до чего неизменно служит прежде так всего простейшим
плотским нуждам, хотя и старательно прикрывает их
слащаво-благостной риторикой, одновременно с этим так*

и давя всходы духовности широкими колесами слишком вот подчас поспешного прогресса.

Культура же, напротив, нередко излишне возвышенна: она парит в облаках абстрактной добродетели и редко считает нужным спускаться на эту грешную землю, столь обильно доселе пропитанную людским потом и кровью.

И именно вот между этой чересчур возвышенной культурой и внешне респектабельной цивилизованностью, как между молотом и наковальней, и поныне зажато сознание человека нового времени.

С одной стороны — гулкий молот до чего сурового и чисто житейского быта, с другой — раскаленная от избыточного энтузиазма наковальня всеблагого духа. Отсюда и разрыв между тем, чего жаждет тело, и тем, что действительно способно возвысить душу над всею унылой серостью тупого мещанства.

В этих условиях средний человек легко мог оказаться самым уж явным заложником несбыточно прекрасных идей, по самым их рванным краям обрамленных чудовищно темными людскими страстями.

А именно это и открыло дорогу безликим, но лукавым силам, явно уж вполне всерьез ведь поднявшимся с самого дна общественной преисподней, а потому и сумевшим почти в одночасье все перемешать так, что прежний свет оказался объявлен тьмой, а непроглядная тьма — светочем самой непререкаемой истины.

Да только ведь эта тьма оказалась единственно «правой» лишь потому, что люди возвышенных мыслей слишком вот привыкли отгораживаться от всего того грубого

и неблагоприятного, предпочитая жить духом великой литературы.

И так, оно может быть, и чище — но общий дух народа от этого становится разве что лишь намного тяжелее и зловоннее.

Именно радужные иллюзии интеллигенции и сделали возможным то, что наивное население оказалось с такой уж до чего явной легкостью всецело охвачено той самой пламенной идеологией, сколь дешево распродававшей обещания необъятно всеобщего счастья в том самом радужно светлом грядущем.

Успех большевиков на этом бесславном поприще был поистине чудовищен: именно он создал условия для преступлений против всего человеческого — в масштабах, прежде так ранее уж доселе ведь вовсе невиданных.

Наступили долгие годы безнадежной разрухи, когда мораль начала корродировать так же быстро, как железо под проливным дождем.

Страх откровенно разъедал души.

И главное — скукоживалась в том числе и самая до чего обыденная людская совесть.

Совершенно так любые этические принципы разом уж затем превращались в самый мелкий придаток некоей единственно «правой» партийной правоты.

Все прежнее — словно стены Иерихона — рушилось в пустоту нового абсолютизма.

И ведь главное все это совершалось именно под лозунгом очищения мира от доселе вот столь поднакопившейся в нем

скверны.

И произошло это именно на фоне самого так безотчетного самозабвения цивилизации в момент ее наивысшего упоения собственной духовной мощью.

Сластолюбивые доброхоты начисто проморгали самое так начало более чем необратимого поворота массового сознания — того самого поворота, после которого нежные слова о светлом грядущем превратились в сколь плотно утоптаный грязный снег дороги в призрачно светлое самое же явное никуда.

2

Причем людские ресурсы, еще недавно казавшиеся попросту неисчерпаемыми, прямо на глазах превратились из живых индивидуальностей в песчинки, поднятые ветром своей неумной эпохи, эпохи, слишком поспешно рвущейся к тем сколь еще весьма далеким пределам всеобщего блага.

И ведь главное само это благо вовсе так не мираж.

Это вполне реальная перспектива всегда открытого перед нами иного будущего.

Но схватить ее за хвост одним рывком вовсе так никак попросту уж невозможно.

Можно будет лишь до чего вот медленно и терпеливо рыхлить почву, чтобы грядущее действительно стало несколько посветлее.

И да будет оно когда-нибудь именно вот таким.

Однако тот яркий и радостный огонь перемен должен исходить из глубины человеческих душ, изнутри всей общественной жизни, а не с кафедр и трибун.

Когда же свет «истин» исходит от тех, кто подает

необычайно абстрактные идеи на широком блюде, перед нами не путь, а всего лишь до чего далекий мираж.

И нет ничего опаснее такого миража, потому что он властно манит людей за собой.

Ну а, слепо следуя за маревом, никак невозможно будет построить ничего по-настоящему действительно живого.

Подлинное преобразование человеческого духа принадлежит не сегодняшнему дню, а дню грядущему.

Именно людям будущего и предстоит же создавать условия для физического и душевного благополучия еще никак пока не родившегося человечества.

А нынешняя общественная жизнь и близко так явно никак не нуждается во всяком взрывном переустройстве.

Все на редкость звериное в человеке гаснет не от раздувания ненависти, а от самого верного познания всего сущего в этом мире.

В то время как ненависть никак не уничтожает скотское начало, а, напротив, до чего вволю выпускает его наружу.

Причем да, вся человеческая жизнь по-прежнему связана с безжалостными узами угнетения.

Но подобное устраняется должным интеллектуальным трудом и временем, а не истерическими воплями о вековой и всеобщей злой несправедливости.

Однако именно здесь и берет свое начало страсть всяких «одухотворенных» реформаторов к более чем весьма немедленному очищению мира.

Все их идейное рвение при этом явно питается одной только сухой схоластикой, а не тяжким бытом окружающей нас

действительности.

И все их блажные проекты по существу преобразению мира самых обыденных вещей будут при этом самозабвенно призрачны.

Эти крайне узко мыслящие умы острым, словно кинжал, взглядом различают лишь одну только яркую внешнюю сторону социальных идей, но упорно не замечают их внутренней крайне гнилой начинки.

А между тем сколь еще давно было пора начать очищать никак не лозунги, а сами идеи — от всей той абстрактной пустоты, так и зудящей в сколь многих ушах.

Но для этого нужно было сначала хоть сколько-то вообще оторваться от всего того самодовольного самосозерцания и повернуться всем лицом ко всей той откровенно грязной повседневности.

И именно этого многие культурные люди делать попросту вот явно никак не хотят.

Их духовное состояние величаво — и вместе с тем полностью аморфно.

Они пристально смотрят в сторону света, окончательно же при этом всячески отворачиваясь от той до чего грешной и грязной земли.

А впрочем да, с суицидальным бескультурьем никак не стоит якишаться без какой-либо совсем особой нужды.

Однако же защищать простой народ от притеснений власти, сколь еще душевно так от него отгораживаясь, попросту совсем вот уж невозможно.

И прежде так всего тут надо понять одну ту весьма вот простую вещь: настоящее преобразование начинается не с

общества, а с самого конкретного живого человека.

Не с подрыва всей той ныне существующей политической системы, а с самого так постепенного извлечения самых отдельных судеб из мрака безвестности и духовного запустения.

И ведь ясно же, что тот кто не умеет спасти одного, тот и пальцем не пошевелит, когда безвестно будут гибнуть целые миллионы.

И дело тут не столько в самой отъявленной злонамеренности, сколько в слепом заблуждении.

Причем одно из самых опасных свойств подобных мировоззрений — культ чувства при явном пренебрежении к разуму.

Хотя вот тот светлый ум еще уж явно следует применять не только для страстного обоснования великих теорий, но и для вполне верного осознания самых насущных требований весьма уж во многом никак непростой общественной жизни. Мир он ведь точно не делится до чего еще строго на черное и белое.

Безусловных и безошибочных абсолютов в нем точно совсем так не существует.

Человека явно нельзя мысленно переносить из света в крошечную тьму по неким еще заранее заготовленным схемам.

И его надо вот всячески же пытаться хоть как-либо очищать, не боясь при этом всякой скверной запачкать свои собственные чистые ладони.

Застарелое зло никак не устраняется одним только резким и бойким движением. Здесь главное — отличить гнилую

натуру, сросшуюся со злом изначально, от тех, кто оказался прикован к нему до чего длинной цепью несчастий и неудач. Но для некоторых, разумеется, куда вот удобнее будет до чего с ходу объявить кого-нибудь совсем так безнадежно лютым врагом.

Да и вообще от всего неприятного в жизни легче уж будет именно отвернуться и сколь еще спокойно как и прежде вот только и вглядываться в удивительно лазурные дали литературной вселенной.

Она может быть ярка, прекрасна и удивительна, но внешний мир преломляется в ней слишком так весьма схематично и поверхностно.

А именно поэтому тот, кто слишком глубоко уходит в чужие фантазии, рискует утратить чувство сопричастности к бедам ближнего.

Правда вот, конечно, когда человек не только уж вполне отчетливо грязен сам, но и всячески более чем вдоволь распространяет свою грязь дальше, чрезмерно жалеть его явно не стоит.

Однако при этом очищать человека от скверны — дело более-менее всегда так достойное.

И уж тем более это будет гораздо честнее и праведнее чем просто вот с горечью отворачиваться от него лишь изредка при этом бросая в его сторону колющие взгляды.

Ведь от одного того крайне брезгливого отстранения наша жизнь чище вот точно не станет.

Многие цивилизованные, но дурные люди умеют прятать клыки и потому вполне же и кажутся галантными,

отзывчивыми и душевными.

Но это все один только тот чисто внешний покров, то что внутри сколь неизменно совсем так другое, чем то что выставлено сколь вот сугубо наружно.

Ведь само собой оно разумеется, что при изменении внешних условий легко меняется одна только форма: звериное же начало теперь вот отныне будет успешно скрываться за ширмой весьма сладкоречивой благопристойности. Внешняя оболочка интеллигентности может быть выбелена до блеска, тогда как внутренняя суть останется при этом вовсе никак абсолютно нетронутой.

И именно потому вовсе нельзя просто же заронить в человека зерно чего-либо нового, никак не имея для этого внутренней почвы.

Грязь и мрак в человеческом «я» надо не косметически соскребать, а весьма последовательно перерабатывать и перерождать.

Ведь чтобы человечество действительно стало несколько лучше самого себя, нужна никак не наружная чистка, а глубокая встряска всей человеческой натуры.

И это лишь после того, как будет очищено самое дно человеческого подсознания, и впрямь еще станет возможен разговор о том вполне так доподлинно светлом разуме, ответственно ведущем народы Земли к некоему удивительно лучшему будущему.

Ну а иначе всякое внешнее добро будет разве что лишь экранировать внутреннее зло — самодовольную уверенность в праве управлять миром по собственной прихоти.

И в конечном-то счете самым ведь явным каноном нового

бытия собственно так и стали великая литература и та крайне отвлеченная философия: обе при этом устремлены к далекому горизонту и обе до чего напрочь оторваны от всякой грязной, весьма и весьма насыщенной действительности.

3

Именно такие кисельные берега розовых мечтаний о якобы совсем так невероятно близком рае и сделали его еще только поболее туманным — призрачным до самой полной же неосвязаемости.

Снобам-теоретикам страстно хотелось как можно поскорее дожидаться плодов светлого добра, но они не пахали грешную землю, а лишь орошали ее горячими слезами по поводу до чего еще совсем безысходной судьбы всякого, кто с утра до вечера трудится, не разгибая спины.

Да и вообще всем этим жаждущим перемен интеллектуалам было попросту никак недосуг орошать иссохшие поля людского сознания светом подлинного просвещения.

Их мысли парили слишком высоко, а земля под ними оставалась более чем неизменно выжженной вековым невежеством и досыта залитой невинной кровью.

Кровь эта лилась щедро и бесславно — руками правителей, безумно состязавшихся друг с другом в жестокости и цинизме.

Серые умы в лампасах и второстепенные политики вынашивали всякие так грандиозные планы, прикрывая все это пустыми разговорами о некоем чисто абстрактном народном благе.

Но хуже всего то благо, которое сколь широко объявляется

именно всеобщим.

Когда «светлое счастье для всех» возносится на щит, оно вполне так становится до чего еще универсальным оправданием самых диких зверств.

Сколь так весьма последовательная деградация человеческих качеств почти неизбежно сопровождается до чего еще «доблестным» дроблением общества на всякие беспрестанно враждующие между собой фракции.

Да и вообще тот беспрестанно лязгающий железом технический век легко превращает людей в машины с мотором в груди вместо сердца.

А где-то отсюда и крайняя форма отчуждения: вчерашние друзья, расколотые политикой, до чего быстро становятся лютыми врагами, ибо всякое инакомыслие отныне объявляется суицид же преступлением.

Да и вообще фанатическая вера в святую обязанность каждой личности сходу так всем уж миром приблизить эпоху всеобщего грядущего счастья вполне так делает общественную жизнь попросту считай так невыносимо бредовой.

Попытка же разом создать идеальное грядущее из пустоты очень ведь скоро уничтожает или переписывает всякое прошлое.

А вслед за ним — и само собой до чего вычурно изменяется и само настоящее.

Но есть и другая разновидность бегства от всякой насыщенной реальности: ожидание чуда от черно-белого текста в твердом переплете.

И это ведь именно из непосильного сплава литературных

грез с казенной действительностью и возникают затем еще попытки чисто так насильственно же привить быту черты всецело вот чисто заоблачного идеала.

Причем все это совершается грубо, аляповато и с самым отчетливым душком до чего отъявленного популизма.

Ну а коли та самая до чего еще упрямая действительность весьма вот упорно отказывается становиться именно такой, какой ей будто бы и впрямь надлежит действительно быть, то вот значит, виновных следует еще поискать именно посреди столпов старой, будто бы считай окончательно обветшавшей жизни.

А именно отсюда и берут начало всякие радикальные мировоззрения, а вместе с ними и зарождаются всякие же доблестные устремления разом снести бы все до основания, не оставив при этом и камня на камне от всего того совсем так ныне опостылевшего прошлого.

А затем, уже после победы бравурных революционных идей, и возникают до чего только яркие декорации гигантского театра под открытым небом, в котором пошло и бесконечно только вот и ставится все та же революционная оперетта. Ну а за всеми теми крайне аляповатыми декорациями буквально повсюду стоят жуткие миазмы совсем неустроенного быта — еще и впрямь куда поболее тяжелье, чем прежде.

И при всяком великом перевороте прежде так всего гибнут именно лучшие люди.

И это именно слишком так чересчур утилитарное восприятие книг и породило тех интеллектуалов, которые затем вот и стали катализаторами революционных

событий, что столь вот вскружили головы и взбудоражили всякие серые массы простого народа.

Да только вот многие авторы достойных книг в этом вовсе никак не виноваты.

Писатель имеет полное право преувеличивать, отчаянно скрести мыслью по самому дну жизни.

И он имеет право весьма тщательно окрашивать мир в несколько иные тона, чем те, что были еще изначально ему предписаны самым так «естественным порядком всех общих вещей».

В процессе творчества автор явно приподнимается над всею серой и никчемной людской повседневностью.

Автор художественного произведения творит новое слово в литературе находясь в состоянии вдохновенного упоения.

И если кто-то до потери чувств одурманивается самим запахом чужой мысли виноваты здесь прежде всего никак не писатели, а те, кто превращает яркую художественную метафору в светильник освещающий ему дорогу во тьме всех тех чисто житейских его скитаний.

Есть ведь среди нас и такие, кто до чего охотно питается чужим вдохновением и пытается жить среди муз, не пачкая рук о серую реальность. И ведь именно эти до чего еще нередко принимают кривое зеркало литературы за саму плоть всей жизни.

А вот здесь и кроется подлинное книгоедство.

То есть это и есть самое так удивительное превращение инструмента для ухода за садом в сам сад — со всеми его цветами и плодоносящими деревьями.

Хотя вот между тем всякая литература, как правило

создается людьми, до чего нередко живущими вне повседневного труда.

А именно потому их миры сколь неизбежно бывают доверху наполнены блажными иллюзиями.

И эти иллюзии становятся смертельно опасны, когда их принимают за самое прямое руководство к какому-либо действию.

А тогда художественный образ вполне вот и превращается в самое так расхожее социальное клише. Светлая мечта до чего запросто при этом становится откровенно суровым приказом.

А сухая книжная абстракция — основой весьма увесистой дубинки.

И именно тогда культура, сколь еще окончательно оторванная от сырой земли, разом так перестает быть спасением и превращается в по-барски накрытый стол самого бесконечного пира во время чумы.

4

Людям, создающим красивые образы жизни, слишком так часто приходится надеяться на одно только чудо: что злая судьба все-таки смиростивится и принесет им в клюве хотя бы крошку хлеба насущного.

Это неизбежно отражается и на их мышлении, и на духовном строе, и на самом так сказать способе создания литературных образов.

А у людей мелкого калибра все это и вовсе превращается в самую невообразимую душевную муку: достучаться бы до издательских дверей, туда, где служащим по части эпистолярного жанра, отчаянно жаждущим прокормиться,

по самым крупницам раздают булки с маслом.

Подлинных гениев это почти никак не касается.

Но тех гениев — единицы.

Зато желающих прокормиться художественным вымыслом пруд пруди.

Вот почему было бы странно требовать от человека священного трепета перед всякой напечатанной книгой.

Трепет должны вызывать только имена — подлинные имена, а не сам факт чьего-либо большого или малого выхода в свет.

И при всем том один из главных пороков подавляющего большинства литературных произведений — их сосредоточенность на отвлеченных идеях, начисто лишенных живых соков всякой повседневности.

В них зачастую нет никакой чисто мещанской стороны жизни, нет ее тяжелого дыхания, нет того сурового напряжения, которое рождается из до чего вечной двойственности духа и плоти.

Да и в самом деле: зачем вытаскивать липкую черную грязь на ослепительно белый свет?

На это готовы лишь явно немногие.

Куда проще писать о чем-нибудь светлом и весьма отвлеченно возвышенном.

Куда заманчивее — и, пожалуй, даже удобнее — без конца и края будет строить и строить всякие воздушные замки.

А тем более весьма так полегче будет до чего уж сладко мечтать о светлом грядущем, чем всматриваться и всматриваться в заплесневелые подвалы нынешнего настоящего.

А между тем именно там, в этой самой крайне

непривлекательной глубине, и скрыта главная правда человеческого существования.

5

Чего тут ни говори, а данный нам бранный мир далеко уж явно не безупречен и прежде всего в вопросе здоровой оценки всей в нем так или иначе имеющейся общественной скверны. Эту скверну действительно вот еще предстоит весьма последовательно вычищать.

Но делать это следует очень даже весьма аккуратно и вдумчиво, медленно, но верно отделяя зерна будущего от плевел прошлого.

Потому что кровавое «очищение» — вовсе не путь к свету, а самый так настоящий бал сатаны.

И такой бал может длиться не одну ночь, а целые же долгие столетия.

Кто-то, впрочем, искренне верит, будто старое зло можно разом вымести цепкой метлой политического террора.

Да только на деле этим «пролетарским инструментом труда» выметается прежде всего сама как она есть общественная справедливость.

Ну а хоть сколько-то стояще нечистоты общества вымываются не диким страхом, а терпеливым и участливым соприкосновением со всеми его темными углами — безо всякой боязни испачкаться в липкой, застарелой грязи.

И разумеется, что нечто подобное никак не относиться ко вполне законной дочери — преступности.

Однако чтобы осушить само болото в котором оно заводится всякие карательные меры совершенно же

попросту бесполезны.

Ну а следовательно вполне законный вывод: только лишь тщательно вычистив общественную скверну и можно будет в самой отдаленной перспективе хоть как-то изжить ту до чего еще стойкую плесень прошлого, которая и поныне никак никуда не исчезла.

Если же всего этого вовремя не сделать, человечество явно ожидает культурное вырождение — частичное или полное. Древняя злоба неизбежно найдет новый способ для подлого удара, воспользовавшись уже не дубиной, а новейшими достижениями науки.

И тогда оживут те мрачные картины будущего, которые Герберт Уэллс некогда предначертал в своей «Машине времени».

Его образы, конечно, не свободны от некоторого упрощения, но во всем этом еще никак не наступившем, лишь разве что выжидаящем своего часа грядущем они до чего пугающе весьма вот реальны.

И остается лишь один вопрос: каким именно окажется это будущее для всей этой нашей крайне беспечной человеческой расы?

Сегодня ее подчас гнетут скука и дефицит ярких новых впечатлений. Современный человек томится в серой урбанистической повседневности, лишенной подлинных испытаний, больших целей и более чем широких и настоящих смыслов всего своего крайне блеклого существования.

Его жизнь несколько обмелела, лишилась приключения — а потому он ищет тех самых острых ощущений там, где его

предки прежде искали правду и здравый смысл.

6

Мы отгородились от живой материи природы бетонными стенами своих домов — и со временем нас накрыла тоска по чему-то до чего только явно уж вовсе вовне этой чудовищно модернистской серой обыденности.

И каждый глущит ее как только сам вот сумеет.

Ведь все тут средства оказываются вполне одинаково «хороши»: алкоголь, нескончаемое подглядывание как в щелочку за чужими специально для того снятыми соитиями, а также вот поиски суррогатных удовольствий любой степени пошлости.

И главным образом на помощь здесь приходит высокое искусство.

Столь откровенно уводя человека в дальние дали от всякой суровой реальности, оно до чего ведь нередко приучает его вполне полноценно отворачиваться от самых низменных сторон собственной души, как и от всех тех подлинных нужд ныне существующего общества.

И именно в таком своем крайне бесславном качестве возвышенное искусство и превращается в ту самую псевдоинтеллектуальную жвачку, в кривое зеркало фантазии, пытающееся блестящей оболочкой на редкость верно замазать серость до чего затяжных и угрюмых будней. Человек пресыщенный книжным творчеством явно так перестает остро мыслить — он начинает разве что лишь переваривать внешние впечатления.

И именно здесь до чего ярко обнаруживает себя все то нынешнее книгоедство: ибо то будет чтение уже не как путь

ко вполне верному пониманию окружающих реалий, а как форма бегства.

Книга при этом оказывается не тем весьма существенным мерилom всего того внешнего бытия, не инструментом прозрения, а будет она применяема именно как наркотик для сознания, стремительно ускользающего за всякую грань внешней реальности.

И литература при этом становится заменителем чисто житейского опыта, а эстетика — суррогатом жизни.

7

И именно такое искусство чаще ведь всего и навязывает серо-белое восприятие человеческих поступков — особенно в области нравственных пороков, что, разумеется, никак не относится к уголовно наказуемым деяниям.

Причем есть вещи, явно не предусмотренные уголовным кодексом, но при этом куда более омерзительные, чем иная вот кража.

Например, можно во время вполне же состоявшихся отношений до чего цинично вытереть свою грязную задницу о чьи-то светлые и чистые чувства.

И на нечто такое никакие внешние обстоятельства человека явно вот не толкают: это может произойти только в свете всей той до чего только глубокой внутренней гнилости.

А вот ледяное отторжение может происходить по множеству самых разных причин, и далеко не все они коренятся в чьей-то самой отъявленной низости.

Да и вообще далеко не всему в этой жизни можно будет дать довольно простое и житейски удобное объяснение.

В сложных ситуациях вполне необходимо разбирать

побудительные причины — без высокомерия и без самодовольного морализаторства.

И уж тем более без столь вот бесславной привычки напирать на чужую душу свой собственный, зачастую весьма неприглядный внутренний багаж, что происходит куда только чаще, чем принято признавать.

Если нет возможности растопить лед в чьей-то весьма отстраненной от всего мира душе, если в человеке слишком много темного и неясного, это еще не повод поспешно навешивать на него весьма броский ярлык.

А заодно и теми еще «светлыми людьми», так и искрящимися внешней добротой, обольщаться тоже вот явно никак уж не стоит.

Ведь стоит только до чего грубо вырвать их из той еще изначально привычной им среды — и они первыми всех предадут, спасая собственную шкуру с самым так до чего еще искренним энтузиазмом.

Причем таковы реальные законы жизни, а не весьма благостные книжные о ней фантазии.

Чересчур ласковое добро часто оказывается совершенно аморфным: оно держится не на внутреннем нравственном стержне, а на весьма комфортных внешних условиях.

Стоит этим условиям исчезнуть — и от показной гуманности почти ничего так разом не остается.

8

И главное — именно об этом величественная духом литература чаще всего и молчит.

Даже и в наилучших своих проявлениях она вполне склонна к слишком четкому разграничению: вот злодеи, а вот святые

мученики, безвинно страдающие от чьих-то крайне коварных интриг.

А порою тем же размашистым мазком художественного чувства она до чего громогласно прославляет мужественные подвиги великих героев, если уж того вполне еще требует общая нить повествования.

А между тем всякий человек — существо удивительно цельное.

А следовательно, вся его душу никак нельзя до чего безнаказанно разрывать на самые отдельные фрагменты.

Однако художественная литература слишком вот часто поступает именно так: она рвет правду о человеке на лоскуты, оставляя на виду лишь то, что удобно для вполне конкретного сюжетного изображения, а все «естественно лишнее» старательно упрячет по самым дальним углам.

Иначе, мол, будет оно весьма и весьма крайне уж неприлично. Поскольку как-либо по-другому будто бы явно так окажется вовсе и неподобающе показывать человека во всей его приземленной плоти и крови.

И тем более до чего редко находится место на страницах книги для тех крайне непритязательных, мелочных, противоречивых человеческих черт, которые автору до чего мучительно так неудобно будет переносить на бумагу.

Ну а заодно действует тут и нечто другое: слащаво-благодущное неприятие всего того, что никак не укладывается в строго очерченную авторскую картину мира. Реальные явления общественной жизни попросту выдавливаются за пределы художественного пространства — как неэстетичные, как бесславно мешающие чрезвычайно

«высокой» идеалистической композиции.

И в итоге перед читателем возникает не живой человек, а аккуратно отретушированная его схема.

9

К тому же дулика автор, крайне возвышенный духом, вполне еще искренне может решить, что всякий тот рядовой читатель как-то иначе его попросту и не поймет.

И именно потому — во имя сколь «наилучшего же блага» этого самого читателя и сочтет он необходимым весьма ведь ответственно подсластить слишком так никак не в меру пресную действительность.

Да и вообще сладкие грезы — один из самых ходовых товаров художественной литературы.

А потому их и эксплуатируют все, кому оно только не лень. Справедливости ради, впрочем, надо вот все же более чем сходу заметить: корифеи жанра, заслужившие вековую славу, вряд ли, что занимались этим вполне до конца так сознательно.

Но великие писатели — тоже люди.

И они вполне могли породить немало пространных иллюзий из самых благих побуждений: не ради наживы, а из самого искреннего стремления утешить, вдохновить, приподнять.

Однако иллюзия, рожденная добрым намерением, остается той же иллюзией.

И если ее начинают искусственно вживлять в реальности самой жизни, последствия уже никак не будут зависеть от всей кристальной чистоты исходного замысла.

10

И стоит ведь еще и еще раз весьма твердо подчеркнуть:

великие мастера слова — тоже люди.

Ничто человеческое им не было явно так никак чуждо.

Более того, непомерное возвеличивание писателей, порой доходившее почти до религиозного экстаза, нередко подталкивало их к тому сколь своеобразному «подвигу великомученичества» — во имя явного облегчения страданий народа.

Российская литература всей силой своего духа стремилась сделать буквально все возможное и невозможное, чтобы преобразить убогую действительность в ослепительно светлый образ несколько иного грядущего.

Но именно в этом и заключалась наиболее главная иллюзия. Все это существовало прежде всего на белоснежной бумаге. Начертанное там будущее оставалось критически призрачным — не более чем смутным прообразом, блеклым эскизом того, что лишь весьма отдаленно маячило на самом дальнем горизонте.

Те самые «доблестные веяния», явившиеся в виде возвышенных чаяний и слащавых мыслей, оказались всего лишь ветром, разносящим пыльцу благих пожеланий.

Им вот никак не было суждено уж действительно стать живыми ростками весьма доподлинного человеческого братства.

А между тем вполне настоящее преобразование будет еще возможно разве что совсем иным путем: не через яростное разжигание сладких мечтаний, а через воспитание отдельных личностей; не через лозунги, опьяняющие души, а через самое последовательное формирование внутренней культуры во

всех слоях общества.

И к тем лучшим дням можно будет прийти только прямой дорогой — дорогой долгого и трудного возведения бастионов высокой и, что не менее важно всеобщей культуры

И уж давно бы пора выбросить на помойку истории саму так сказать вовсе никак нескромную мысль о той или иной возможности куда-то еще суметь ведь дойти до чего и впрямь окольной тропой блажных иллюзий.

11

И что еще, собственно, могли предложить миру классики мировой литературы XIX столетия?

Да, пожалуй, ничего существенного, кроме того самого безудержного оптимизма, густо настоящего на зрелой фантазии.

То есть именно так до чего еще ликующего предвкушения грядущего мира, которое они столь вот щедро извлекали из самых чудовищных глубин собственного воображения.

А воображение — это было уж слишком не в меру разогрето бликами никем так еще и близко не выверенного самого вот будто бы «наилучшего будущего».

Новые духовные ценности во многом рождались именно из снов наяву философствующих доброхотов, утонченно проживавших свой век в до чего только надежном предчувствии самого скорого конца старого мира.

И так ведь оно было разве что именно уж потому, что эти доблестные интеллектуалы оказались явно слишком ослеплены всякими диковинными техническими чудесами своего времени.

Но все это по сути своей были одни только

шапкозакидательские настроения — порождение чересчур стремительных перемен, механически довольно так крепко увязанных с тем совершенно внезапным прогрессом в области строительства машин. И все это при том, что сами эти открытия на деле пока не стоят и выеденного яйца перед суровой необъятностью тайн, по-прежнему сокрытых от всякого человеческого понимания.

И именно на данной весьма зыбкой почве и возникла эволюционная теория в ее нынешнем крайне упрощенном виде. Ну а вслед за нею и поднял же голову увенчанную средневековыми рогами и тот самый социальный дарвинизм, из которого затем, под раз и навсегда опустевшими небесами и вырос лютый фашизм.

При этом еще сама та теория Дарвина как есть изначально была слишком так схематична — слишком проста для вполне полноценного объяснения подлинного многообразия земной жизни.

Ее вот явно так следовало долго и последовательно уточнять, развивать, усложнять.

А потому в конечном итоге она и должна была довольно так заметно во многом несколько еще трансформироваться.

Подобно тому как идеальные круги коперниковских орбит со временем уступили место эллипсам Кеплера, так и дарвинизм нуждался и нуждается в весьма серьезных уточнениях и коррекциях.

Однако кое-кто всегда бывает слишком уж весьма поспешен в своих до чего скороспелых выводах.

И вправду: зачем это вообще терпеливо дожидаться новых открытий, когда куда удобнее весьма немедленно взяться

за пересоздание всего этого мира, раз он будто бы до сих самых пор держался на тех сколь отчаянно ложных и зыбких основаниях?

И именно такое поверхностное знание, доверху перенасыщенное самоуверенностью, и порождает в конечном счете самые жестокие социальные выводы.

Демонические постулаты занимают место прежних догм.

И весь духовный «прогресс» оборачивается всего лишь разве что заменой одних вот черных суеверий другими еще более опасными отчаянно серыми.

Ну а при этом социальное чутье и «идеологическая обработка масс» все более и более начинают напоминать дрессировку стада, слепо идущего за своим поводырем.

Да, людей в разные эпохи воспитывают вовсе так явно по-разному.

Но главное в человеке почти так никак не меняется.

Все эти всемогущие технические чудеса действительно же продвинули человечество вперед — но главным образом в чисто так совсем иллюзорном же измерении.

Они вполне всерьез облегчили быт, но одновременно с этим резко ускорили процесс оболванивания масс.

Современный человек стал весьма апатичнее своего предка: ему создали искусственный мир, который круглосуточно смотрит на него со всех тех глянцевых экранов.

И потому ясно лишь то одно: если цивилизация и не уничтожает ростки духовности окончательно, то по самой меньшей мере делает она их вялыми, водянистыми,

лишенными всякой внутренней силы.

12

И вообще этакая вовсе вот безнадежно нелепая попытка до чего скорого и резкого переименования самой серой сущности человеческого духа почти неизбежно оборачивается смертным грехом — искусственно созданной первопричиной всего того последующего забвения и запустения.

Цветные миражи восторженных надежд на пресловутое «светлое завтра», будучи насильственно приложены к обыденной житейской практике, до чего нередко выжигают дотла все то, что в человеке просто и естественно, — само его доподлинное естество.

А это по-настоящему губительно и для тех далеких, но вполне возможных светлых дней реального, а не лозунгового будущего.

Правда в чистой теории все и впрямь может выглядеть более чем до конца светло и безупречно.

Но с чистого листа совсем невозможно же начинать хоть сколько-нибудь серьезные преобразования.

И пусть вокруг ад, достойный пера Данте, — это еще не повод, начисто ослепнув перед призрачными вратами рая, беспечно переводить народ с того еще третьего круга сразу в шестой.

Большевизм даже в крайних своих проявлениях был не более чем шестым кругом.

До седьмого он дошел бы лишь в случае полной вседозволенности — возможной только при общемировом владычестве.

И конечно, все это — дела сколь еще усовершенствованной,

по-настоящему беспросветной средневековой мглы.

Но зачатки этой дурманящей души страсти — страсти чересчур поспешно «выпрямлять путь человечества» — следует искать прежде всего в Содоме и Гоморре интеллигентских дискуссий, в салонных спорах о том, что необходимо немедленно и грозно разом так сокрушить.

Разрушить всем миром до самого его основания.

То есть вышедшим из повиновения народным массам и впрямь будто бы надлежало известить все то, что было нарочито и огульно весьма сходу объявлено никак недостойным всякого дальнейшего существования, — как якобы тот самый лютый оплот совсем окончательно отжившего свое угнетения.

И сделать это следовало так же обезличенно и планомерно, как в каком-то частном доме сколь бескомпромиссно выводят клопов и тараканов.

13

И уж до сих самых пор слишком так многим неясно то главное: в бесклассовом обществе вместо серого настоящего лишь едва намечались контуры светлого грядущего, к которому весьма следовало бы идти медленно, без рывков, пробираясь через дебри тысячелетий постепенного технического и духовного преобразования мира.

И если сегодняшний мир по-прежнему скован множеством видов рабства, это еще не повод превращать освобождение народов в праздник вполне свершившегося осатанелого насилия.

Такой путь ведет лишь во тьму новой первобытности.

Чтобы мир действительно стал лучше, его следует менять

ласково и постепенно.

И только по отношению к подлинным извергам — серийным убийцам и насильникам — допустима самая крайняя строгость, вплоть до законной смертной казни.

Но нам всегда уж совсем невтерпёж.

И потому долгий путь становится разве что только длиннее.

И есть все основания полагать, что безумное XX столетие добавило к нему еще не меньше пятисот лет — а может быть, и больше.

Слепки грядущего, начертанные во снах о светлом завтра, нельзя использовать как универсальную отмычку.

Иначе ярые мечтатели, окончательно оторванные от реальности, будут снова и снова пытаться выпорхнуть из настоящего — сверкая глазами, но никак при этом не чувствуя твердой земли под ногами.

14

Лев Толстой, к примеру, вероятно, и впрямь ведь хотел самого только еще наилучшего — и ради этого весьма последовательно надрывался, буквально лез из кожи вон.

По-видимому, ему было чрезвычайно так важно хотя бы вот на белой бумаге вполне приучить воинственно мыслящих людей явно уж обходиться безо всяких кровопролитных войн.

Ну а что в итоге из всего этого вышло?

Чего он в действительности вполне так добился, последовательно дискредитируя армию, проповедуя непотворение злу как и внушая обществу совершенно беспочвенную надежду на то, что все как-нибудь само собой уладится и образуется?

Надо бы тут сразу сказать: для современников его речи

звучали как глас с небес.

Потому что думать собственной головой — занятие весьма болезненное и утомительное.

Интеллектуальная ленца, увы, один из устойчивых человеческих пороков.

Однако при этом в русском человеке почти отсутствует амбициозный снобизм и убежденность в «естественном праве сильного», столь характерные для Западной Европы.

Нет в нем и инстинктивной тяги к жестокому завоеванию, столь широко распространенной на ближнем и дальнем Востоке.

Русская жесткость рождается не из самодовольной агрессии, а из сущего отчаяния.

А это принципиально разные вещи.

15

И вновь необходимо разом так повторить главное свойство русского характера: до поры до времени — тихая, почти безмятежная сдержанность, а затем — внезапная, отчаянная неудержимость, которую уже никак невозможно будет ни остановить, ни обуздать.

Именно в эту опасную паузу между терпением и взрывом Лев Толстой и внес свою лепту, настойчиво прививая дореволюционной интеллигенции псевдохристианское смирение и беспредельно растяжимую терпимость к самому так вовсе обыденному людскому злу.

Он фактически легитимизировал жертвенную пассивность. Более того, выставил простонародное хамство как вполне «естественное право» на ту самую законную обиду за века

явной и чудовищной несправедливости.

А тем самым он до чего невольно подкармливал внутреннюю войну и самую же страшную из всех вообще возможных, потому что она ведется не между государствами, а внутри одного народа.

Внешние конфликты еще имеют границы.

Гражданская же вражда никакой меры точно не знает.

Где еще в истории бывало так, чтобы из-за одних суровых убеждений брат убивал брата, а сын — родного отца?

И как нечто подобное собирались предотвращать те, кто по самую шею увяз в сущем непротиивлении всякому злу, эти сеятели чисто абстрактных грядущих благ?

Причем даже если нечто подобное и может когда-нибудь стать еще вполне так возможным, то лишь в должных условиях действительно свободного мира, а вовсе не там, где массы морально выпотрошены суррогатом «единственно верной правды».

И вот сумеют ли подобные проповедники хоть как-то достучаться до людей, лишенных всякого внутреннего ориентира?

Ответ очевиден: нет.

16

И, к слову, почти банальностью ныне ведь стало утверждение: именно Лев Толстой и насытил российскую интеллигенцию совершенно так бесславной идеей непротииления злу.

А в результате она уж и оказалась морально совсем обезоруженной перед большевистским террором — перед той осатанелой машиной, которая весьма последовательно

отрицала само понятие подлинной интеллигентности.

Но что же помешало мыслящим людям вовремя отряхнуться от иллюзий и хотя бы попытаться на деле притормозить крен «Варяга» Российской империи в пучину анархии и бескрайнего произвола?

Ответ прост: все началось именно так с чрезмерной увлеченности красивыми идеями, впитанными из многократно перечитанных книг Льва Толстого и Антона Чехова.

Именно эта книжная гуманность, напроць оторванная от реальной жизни, и стала затем одной из весьма существенных причин грядущего общественного взрыва — того самого, что уж разрушил глубоко изнутри вековое здание Российской империи.

17

Эти писатели — вольно или невольно — немало потрудились над тем, чтобы вполне так представить российскую действительность как нечто хронически недоцивилизованное, а в особенности в весьма резком ее сравнении с внешним лоском «передовых» европейских держав, виртуозно владевших искусством плести ядовитые интриги, а потому и прославившихся самым лицемерным вероломством и изощренной дипломатической хитростью.

И тут уж никак не стоит стесняться вполне естественной же прямоты: возвышенный идеализм стал для Запада лакомым куском жирного пирога.

Его можно было вдоволь использовать, а затем без всякого сожаления растоптать в пыль.

А почему бы и нет, если значительная часть духовной элиты

огромной страны витала на белых облаках и не желала замечать чертова месива грязи под собственными ногами? Подобный взгляд рождался и из внутренней, духовной эмиграции тех, кто хотел жить в России культурнее, чем живут в самой Европе.

Но общая оторванность от людских масс не должна переходить ту границу, за которой свет мысли до чего радостно ослепляет сам себя.

Вся эта конструкция держалась, по сути, на одном честном слове: влияние гигантов мировой мысли на российские умы оказалось по-настоящему весьма разрушительным. Бердяев совсем не случайно называл Льва Толстого злым гением России.

Да и другие писатели были никак немногим уж лучше.

Лев Толстой, Чехов, а в известной мере и Достоевский, двигаясь в русле широких общественных настроений, исподволь подтачивали сами основы страны, и без того плохо различавшей границу между внутренней свободой и тотальным отрицанием всего того прежде ранее существовавшего.

Так критика превращалась в самоуничтожение, сострадание — в пассивность, а слезливый гуманизм — в удобную форму бегства от всякой настоящей ответственности за судьбу своей необъятно широкой страны.

Пусть, мол, все сделает тот добрый и кряжистый пролетарий, над которым так долго глумились и которого испокон века всячески безбожно угнетали.

И при всем том существует еще один исключительно важный

аспект: порабощение людей, и без того сколь смутно же представлявших себе живую ткань повседневной реальности, тяжеловесными догмами всякой той чисто совсем ведь абстрактной благости.

Им явно хотелось жить не в том как он есть вполне настоящем мире самых так обыденных вещей, а в его до чего славном и чисто воображаемом отражении.

И, чего уж тут скрывать, они вполне всерьез попытались явно так подогнать весь существующий порядок вещей под те самые наскоро позаимствованные из книг философские постулаты.

И сколь немало им в этом помогли именно те, кто до чего безоглядно отвернулся от всех реальных условий жизни, объявив их никак недостойными всякого своего внимания.

Осознав всю серость, тяжесть и историческую вязкость быта, некоторые «возвышенные» личности явно решили никак не возделывать старый огород, а радостно перепахать его новыми, более острыми граблями.

Правда, они так и не удосужились того вот понять, что выбрали они для этого совершенно так вовсе неподходящий инструмент.

А может быть, им явно уж было вовсе вот как-никак безразлично, что именно вонзать в сырую землю, — лишь бы действовать шумно и эффектно?

Тот же Лев Толстой, обитая в своем любимом имении, все глубже погружался в необычайно самодовольное прекраснотушение.

А потому изображение человеческого быта в его произведениях — при всех их литературных достоинствах и

мировом значении — оказалось вовсе совсем не безобидным. Во многом оно явно сформировало привычку смотреть на жизнь сквозь призму морализующей абстракции, вместо того чтобы вполне отчетливо видеть всякую конкретную боль и до чего продуманно, веско сопротивляться слишком-то суровым нынешним реалиям.

19

И особенно губительным все — это оказалось для тех читателей, которые так вот и не научились проводить четкую грань между благой творческой фантазией и крайне суровой общественной действительностью.

В душах слишком многих российских интеллигентов художественная литература заняла чрезмерно главенствующее место — не только как форма тонкого соприкосновения с миром прекрасного, но и как способ вытеснения живой реальности красочными миражами, когда серую повседневность, считай уж нарочно подменяют придуманным пространством светлых ожиданий и возвышенных грез.

И главное во всем этом и близко ведь не было совсем уж никакой великой беды кабы не зло столь искусно умеющее маскироваться под всякое то еще истинное благо.

Подлая корысть слишком легко примеряет на себя одежды всякого доверчивого добра — и тут же начинает зверски извращать все его самые изначальные цели.

Именно так постепенно и вызревает совершенно бездушный радикализм: нелюди и прихлебатели, прикрываясь высокими словами, доводят общество до состояния самой безумной спешки, вооружившись до чего прямолинейными

либеральными лозунгами.

А те самые первые носители всех этих грозных формул ничего подобного вовсе не замечают, а потому и столь же непринужденно продолжают весь свой сколь так весьма славный путь.

И если они когда и перестанут щебетать о райском грядущем, то лишь тогда, когда окажутся лицом к лицу с широченной плахой.

А пассивное большинство, как варилось оно в собственном соку, так и продолжит оно в нем же вариться — безмолвно, инертно и покорно.

20

И, разумеется, все это никак не относится к людям по-настоящему сильным духом и телом.

Да только и они подчас могут слишком уж яростно закружиться в диком хороводе сказочных грез.

Этот красочный мир более чем строго увлекает их, облекаясь в одежды подлинной реальности, и потому они идут к свету, никак не замечая, что вокруг по-прежнему царит самая кромешная тьма.

Более того, тьма эта только еще гуще и гуще сгущается, прикрывшись, словно фиговым листком, самыми наилучшими людскими чаяниями и надеждами.

Причем одно из важнейших качеств людей, живущих внутри кокона литературных мечтаний, — слепая доверчивость ко всякому, кто изрекает длинные и пафосные речи.

А дальше — всего только те два самых коротких шага до подобоострастного услужения нахмуренным холоум

воинственно тупой идеологии.

Ее приверженцы громогласно вещают о всеобщей сплоченности и непримиримой борьбе во имя торжества аляповатого «счастья для всех».

И ведь самое твердое обоснование для данного подхода к действительности как раз и составили те интеллигентские принципы, что выросли из бескомпромиссности и прямолинейности, никогда уж вовсе при этом не знающих совсем никакой меры.

Да и сама та повседневная реальность еще изначально совсем не спешит хоть как-то подстраиваться под всякие красивые схемы.

Она всегда грубее, сложнее и упрямее любых, сколь еще угодно изоощренных абстрактных построений.

Но это именно как раз-таки тот аналитически однобокий ум, сколь же весьма упоенный собственными концепциями, и становится самой явной предтечей той до чего еще бескомпромиссной «чистоты рук», не запятнанных ни малейшими житейскими коллизиями.

И потому именно он в конечном счете делается самым надежным источником всеядных, ласковых ожиданий скорых и непременно благих перемен.

21

А главное — непомерно так высока будет цена всей этой изумительно благостной восторженности, скованной цепями немислимо сладостных ожиданий.

И цена эта поистине ведь ужасна.

Потому что нечто подобное явно приводит прежде всего к расхлябанности души — к привычке видеть одни лишь

книжные образы вместо более или менее подлинных реалий жизни.

И в этом ярком сне, сущем калейдоскопе радужных иллюзий, можно прожить всю жизнь — и, в конце концов, это личное дело каждого.

Но когда людей такого склада среди работников умственного труда становится слишком вот много, уже никак не приходится удивляться тому, что суровые будни житейского быта начинают напоминать дантов ад — и отнюдь не на белой бумаге.

И разумеется, почти так ни у кого не было сколь еще откровенно злых намерений.

Те, кто бороздил просторы литературной вселенной в поисках идеалов, хотели только добра и света — сразу для всех, а не только для самих себя.

Они вполне искренне стремились приблизить свет и отодвинуть тени лютой тьмы.

Но для всего этого требуется умение, а не одно лишь и только страстное желание.

Ибо желаемое, растравливая воображение, не приближает цель — оно лишь делает ее еще куда только более заманчивой. Именно так и рождаются ожидания грядущих благ у тех, кто безудержно упивается сиянием ярких истин, туманно отраженных в фоллиантах философской литературы.

А в ее дебрях слишком вот много извилистых троп и слишком мало прямых дорог, действительно ведущих к суровой действительности.

И главное: никакие, сколь угодно веские, философские течения

не меняют основного русла жизни.

Они лишь разве что возводят на его пути плотины и запруды, мешая ему течь самым естественным ходом.

От пресных и сухих постулатов нередко веет сладковатым духом умерщвленной естественности: в книгах некоторых — далеко не всех — авторов явно преобладает елей сколь безнадежно вычурной искусственности.

А рядом с этим почти неизбежно возникает и нечто вовсе вот другое — совсем не безобидная жажда всепожирающих перемен, яростно алчущая сказочно наилучшего грядущего.

22

А между тем подлинная и горькая правда заключается именно в том, что для будущего счастья всего человечества вовсе так не требовалось изобретать ничего того действительно лишнего.

Достаточно было просто жить и развиваться по старинке — без надрыва и безо всяких истерических рывков.

То есть именно так, как все это и происходило до огненно-революционного перелома начала XX века.

Но кто это в ту еще дореволюционную эпоху и впрямь вот вполне так всерьез на деле пытался хоть как-то обуздать те самые слишком уж разгулявшиеся фантазии?

Кто это тогда действительно вот как следует занялся весьма трезвым переосмыслением самых обыденных нужд нового индустриального общества?

Хотя коли уж вообще и браться за обновление заржавленного механизма государственного обустройства, то ведь при всем том только и следовало руководствоваться именно так логикой самой жизни, ее наиболее естественными

причинно-следственными цепями, а не отвлеченными философскими постулатами, пристроенными к реальности чисто так вовсе совсем уж извне.

Потому что, чрезмерно увлекаясь фантазированием, вовсе нетрудно будет заново воспроизвести до чего стародавние средневековые грезы о будущем рае — лишь под той куда поболее броской вывеской.

И ведь все те ослепительно яркие, по сути мифические конструкции затем и были до чего еще насильственно же притянуты ко вполне конкретным планам общественного переустройства.

Причем да уж чисто внешне все это и впрямь выглядело до чего еще красиво и вполне уместно.

Но показная величественность только лишь подчеркивала убогость и аморфность прожектов, возведенных на одном сколь быстро вот высыхающем песке.

Самой уж главной первопричиной всему этому стал именно тот воинственный нигилизм, загодя подтачивавший сами основы живой современности, — а также восторженное окуливание грядущего дифирамбами о самой так скорой гибели «проклятого прошлого».

И это именно в том до чего сыром, подвально-темном сталинском грядущем этим намерениям и суждено было обрести свое практическое воплощение — в руках тех, кто пожелал захомутать массы сладковатой на вкус, но смертельно горькой по своим плодам атеистической идеологией.

перспектив самой наилучшей жизни вполне так необходимо — и многим оно действительно нужно. Однако подобные разговоры никак не должны рождаться на почве самого яростного отрицания всякого былого и прошлого.

Новый общественный дом вовсе не строится за один тот короткий человеческий век.

А потому куда разумнее будет весьма деятельно укреплять стропила старого, чем расшатывать их на диком ветру внезапных перемен.

Но для тогдашних радикалов сам факт существования древнего здания самодержавия был почти же невыносим.

То, что эта обветшалая конструкция все еще держалась, приводило их в сущее исступление.

Российские либералы хотели света и общественного разума, а в конечном итоге получили серые времена тьмы, всевластие грубой силы и торжество слепого невежества.

А между тем той еще дореволюционной России до подлинно светлых дней иного грядущего было не так уж и далеко.

Нужно было лишь трезво, без истерик и рывков, шаг за шагом улучшать жизнь всего того ныне существующего общества.

И уж точно никак вот нельзя было этого добиться самым так бескрайним уничтожением неординарных людей — тех, кто действительно выпукло отличался от серой, никак и ни о чем вовсе вот не мыслящей серой массы.

Людская толпа она всегда до чего еще бездушна и стадна.

И интеллектуально она почти всегда уж вовсе бесплодна.

А потому заря новой красноречивой эры и могла быть лишь разве что сколь еще однотонно кровавой.

Тот безупречно настоящий духовный прогресс будет

возможен только через самое индивидуальное развитие каждой отдельной личности.

Именно так в течении времени и возникает новый конгломерат общественного сознания.

Да, менять иконы на лозунги, а знамена — на портреты ничтожных вождей поначалу может быть очень так даже и весело.

Но разве от этого хоть как-то поменяется сама природа ныне существующей власти?

Ведь чтобы механизм управления заработал должным же образом явно иначе, требовалось просвещение народа, а не отравление его души сказками о самом скором пробуждении от векового сна и о лампочке Ильича как о некоем новом солнце вселенной.

Вместо распространения восторженных прокламаций следовало научить людей хоть сколько-нибудь верно вполне должным образом думать.

И, разумеется, нужно было раз за разом весьма вот усиленно вытаскивать самых отдельных людей из сущего мрака сурового невежества.

Но все это было слишком так до чего еще неудобно.

Да и попросту никак ведь абсолютно же невыгодно.

Куда проще будет до чего захлеб мечтать о великих благах абстрактного грядущего, чем до чего весьма терпеливо возделывать почву нынешнего настоящего.

А потому аромат светлого завтра явно подтачивал живое тепло простого человеческого естества.

И тем будто бы самым естественным выходом сам уж собой

тогда оставался один лишь и только общественный взрыв. А всякий тот большой взрыв более чем весьма оглушительно разрушителен.

Правда детонация была совершенно так вовсе вот неизбежна.

Социальная безысходность, чувство унижения и неравенства долгими годами копили темную энергию.

И стоило лишь горстке отъявленных демагогов всласть наобещать самое так мгновенное спасение — как она разом и вырвалась же наружу.

Причем люди, явно ожидавшие манны небесной от книжных истин, не понимали того самого главного: насильственная смерть прошлого неизбежно рождает ад грозного будущего, разом так совсем затмеваящий все те прежние ужасы.

Правда, сами идеалисты, совершавшие тот попросту так чудовищный общественный переворот и фактически выворачивавшие действительность совершенно ведь наизнанку, были по-своему удивительно искренни.

Они готовы были терпеть любые страдания народа ради последующего громогласного торжества всех тех своих единственно верных прожектов.

А между тем в наше новое время следовало поднимать на щит не идеи, а знания; не броские лозунги, а последовательное и продуманное просвещение.

Историю никак нельзя будет враз отменить. Ее можно будет разве что перенаправить в некое иное русло.

А потому за разукрашенным плакатом паровозом помпезной идеи с водруженными на нем красными знаменами

неизменно тянулся состав самодовольной тупости.

Причем именно той самой, что особенно так вольготно чувствует себя в даже и мирное время полуголодной стране.

24

И ведь одной из главных причин того, почему история со скрежетом свернула в кровавую бездну чисто большевистски глубокого социального зла, стала весьма так упоенная вера множества наивных людей в самую возможность мгновенно превратить добрую сказку в самую так безукоризненную житейскую действительность.

Кому-то и впрямь до чего самонадеянно показалось, будто окажется вполне достаточным лишь одного самого же короткого рывка — и мир вскоре раз и навсегда сам собою вскоре полностью ведь явно тогда совсем до конца переменится.

Да только подобные фантазии лишь ускоряют падение назад — в дикую, стадную первобытность.

А новоявленный языческий культ очень так скоро начинает требовать и требовать беспрестанных человеческих жертв. Тем более что и власть деспота без них обходиться вовсе вот никак совсем не может.

Если же плеть становится еще и идеологической, она вполне обретает самую так дополнительную точность и чудовищную смертоносность.

Это, впрочем, не означает, будто идеология вообще не должна играть никакой роли в жизни общества.

Обсуждение дальнейших путей развития крайне необходимо. Но решающим здесь является не яростное навязывание общего «счастья», а самое бережное раскрытие воли каждой

отдельной личности.

Именно в детстве души наиболее податливы, потому школа и должна постепенно становиться местом рождения нового быта.

А вот взрослую массу нельзя насильно отрывать от той сколь давно знакомой ей реальности.

Серые массы простого народа можно лишь медленно вести вперед, расчищая дорогу, а не волоча же их по земле за волосы. Если людям хоть как-то помогают идти по пути духовного прогресса, они и сами по нему тоже тогда идут.

Не дружно и не в ногу, но идут.

Если же их тащат, они либо яростно сопротивляются, либо бредут куда прикажут — слепо и до чего только апатично.

Всякие цивилизованные нормы следовало прививать постепенно, и без каких-либо излишних рывков.

Утопические же скачки строго вперед и вперед вслед за бешеной идеей неизбежно так порождают одни только кровавые лужи.

И невинная кровь при этом всегда проливается под лозунгами самого интенсивного приближения света и самого так безответственного сеяния совершенно так всеобщего мнимого добра.

25

А между тем в своем конечном итоге все данные действия обернулись лишь массовым самосудом над всем доселе когда-либо минувшим.

Но судили при этом не темное прошлое — судили светлое и так и не состоявшееся будущее.

И главной целью «перемен» стало самое так планомерное

насаждение духовной и физической нищеты.

Раз и навсегда в той советской стране воцарились тупое невежество, холуйство и заискивающее хамство.

Массы самонадеянно заставили уверовать, будто человеческую природу можно быстро переделать, уничтожив всякую крупную собственность.

Да только человеческая сущность меняется лишь на протяжении долгих тысячелетий.

Взрывными темпами можно разрушить прежнюю культуру — но никак нельзя построить новую цивилизацию.

Истинное благоденствие достигается только лишь поступательным и медленным движением вперед, только весьма обширным сеянием знаний.

Иного пути попросту никак явно не существует.

Все попытки искусственно ускорить развитие общества заканчиваются одним лишь откатом в грязь — причем в грязь, несопоставимо более тяжелую, чем прежняя. А от всего доблестного революционного гуманизма остаются одни только те еще безымянные могилы.

И ведь, по сути, это было вот явно так неизбежно.

Никакое лучшее будущее после будто бы весьма спасительного социального взрыва ни в каких закоулках времени явно не затерялось.

Все благие ожидания оказались не более чем самой безнадежной фантазией, не имевшей к настоящим реалиям жизни даже и самого так отдаленного отношения.

Все тогдашнее дореволюционное общество было буквально же пропитано сладким ожиданием чуда.

И главное: все видели впереди свет, но не различали, заря

ли это новой жизни или кровавый закат всей доселе существовавшей цивилизации.

26

И те самые люди, у которых разум весьма неизменно затмевают всякие более чем необычайно «высокие чувства», мыслят до конца уж совсем так вовсе вот однобоко.

Их идеалом становится одна лишь безупречно стерильная правда, заранее очищенная от всего того весьма дурнопахнущего и неприятного.

Но такая правда всегда уж заранее сколь еще неизменно урезана.

А потому именно она и является самым опасным видом социальной лжи.

Она не искажает факты — она просто-напросто исключает все, что кому-то было вовсе-то никак совсем неудобно.

А в этом вакууме и расцветает затем тот самый донельзя вычурный и самодовольный самообман.

Низменные стороны широкой общественной реальности при этом вскоре вот объявляются совсем «несущественными», что и позволяет кое-кому сохранять свои руки в той как есть почти идеальной же чистоте.

А между тем без прямого участия в жизни общества тяжкий воз разобщенности и коррупции никому и никогда не удастся вот действительно сдвинуть.

Да и вообще историческая задача интеллигенции заключалась никак не в суровом морализировании, а в до чего тяжелой работе рядом с простым народом.

И именно самое уж безоглядное бегство от этого

сподвижнического труда и породило гноящуюся язву ГУЛАГа на теле и без того до чего еще многострадальной российской державы.

Стерильная правда, напрочь отказавшаяся мараться в грязи общественной жизни, слишком так часто затем оборачивается грязью всеобщей истории — щедро же при этом сдобренной самой напрасной кровью.

27

Да, прикосновение к суровому быту реальности вполне неизбежно пачкает руки.

Зато вот душа начинает дышать тем же воздухом, что и весь тот простой народ.

И ведь главное для того чтобы действительно посеять в душах людских настоящий свет, не слепящий людям глаза, придется топтать ногами по вязкой грязи общественного быта.

Но при этом крайне так важно помнить и другое: в грубой почве прорастают лишь семена самого практического знания, а не абстрактные теории.

Да и вообще выравнивание людей под одну гребенку разом уничтожает всякую инициативу и живой энтузиазм.

Прокрустово ложе лживых социальных программ ведет лишь к братской могиле всего человеческого в человеке.

И в социальном смысле бороться следовало не с пресловутым темным прошлым, а с чем-то вполне осязаемым и настоящим: с коррупцией, поголовным кумовством и сущим беззаконием.

Не с тем чисто мифическим человеческим неравенством, а со вполне конкретным разложением морали внутри

общественного организма.

Подлинно светлое будущее человечества строится точно вот не кувалдой.

Оно строится одним только большим и весьма так существенным долготерпением.

28

А между тем никак так вовсе не следует слишком вот усердно подгонять к «свету высших истин» тех, кто живет в суровой непритязательности всеобщего быта.

Нечто подобное не только бесплодно, но и попросту крайне непристойно.

Для начала следовало бы не на словах, а на деле выйти за пределы собственного узкого кругозора — и лишь затем до чего взвешенно попытаться понять людей, веками сжатых тисками самой примитивнейшей необходимости.

А вот бесконечно сюсюкать о «тяжелой народной доле», громогласно вздыхать о бесславном долготерпении масс и при этом ничего не делать, кроме разговоров, — значит лишь взбаламучивать стоячую воду тихого омуты обывательской жизни.

И итог подобных благих стенаний всегда один: сущее беззаконие, на десятилетия становящееся отчаянной нормой общественного существования.

И совсем не случайно мыслимую и немыслимую власть над происходящим в стране в конечном счете получает именно тот, кто начинает распоряжаться людьми как строительным материалом.

Можно, конечно, надеяться, что серые массы со временем все же преобразятся под некоторым воздействием возвышенных

идеалов.

Может быть, когда-нибудь — да.

Но в тусклом настоящем грязную естественность мещанского быта невозможно вытравить благоухающей искусственностью прекраснотушних фантазий.

Лучшее в людях нужно воспитывать.

А не выжигать в них каленым железом самое наихудшее.

29

И, кроме того, вовсе уж явно не следует без конца лить в уши простонародью отчаянные дифирамбы о чем-то якобы сколь еще безмерно утонченном и бесподобно возвышенном.

В подобной подаче чересчур вот много аморфного и искусственного и слишком так мало чего-либо действительно подлинного, по-настоящему приподнятого над всею обыденной жизнью.

Настоящая красота не возникает из чисто случайных слов.

Она рождается из большого творческого труда.

А вот и самое же наглядное подтверждение всему тому сказанному — у Ивана Ефремова в «Лезвии бритвы»:

«Самый великий подвиг искусства — вырвать прекрасное из жизни, подчас враждебной, хмурой и некрасивой, вложить гигантский труд в создание подлинной, безусловной, каждому понятной, каждого возвышающей красоты. Мало этого, тебе придется бороться со все распространяющимся влиянием бездельников, думающих ловким трюком, фокусом, удивляющей безвкусных глупцов выдумкой подменить настоящее искусство. Они будут отвергать твои искания, глумиться над твоим идеалом. Сами не способные на подвижнический труд настоящего художника, они будут

каждый найденный ими прием, отдельное сочетание двух красок, набор мазков или удачно найденную светотень объявлять открытием, называть элементом мира, не понимая, что в нашем ощущении природы и жизни нет ничего простого. Что везде и во всем сложнейший узор ткани Майи, что наше чувство красоты уходит в глубину сотен прошедших тысячелетий, в которых формировалась душа человека! Отразить эту сложность может лишь подлинное искусство через великий труд».

30

И ведь именно для того, чтобы тот крайне долгий путь к лучшей жизни в конечном счете явно не оказался сизифовым, и следовало же научиться быть куда ближе ко всему тому, что веками было перепачкано грязью неумытости, — к живому сердцу простого народа.

Но при этом не следовало вздыбливать слепые от рождения массы куда-то строго вверх, старательно нагнетая в них весь тот и без того накопленный доселе гнев.

Гораздо полезнее было бы при первой же возможности спускаться к людям и становиться рядом с ними — без поучений и без всякой кичливой позы.

И уж точно никак не наступать им при этом на пятки, не толкать их вперед даже во имя самых благих намерений и до чего величавых «светлых» идеалов.

А также следовало бы вполне уж честно признать и другое: в этой жизни ничто не меняется весьма так стремительно и сразу.

Путь подлинного преобразования общества всегда вот невероятно долог и тяжел, а сытые разговоры и

восторженные декларации лишь разве что растягивают его еще дальше.

И это именно ими в самую дальнюю даль и отодвигаются пестрые мечты о якобы совсем уж ином бытии.

То есть именно здесь слишком вот многие окончательно перепутали живую реальность со всеми теми чисто придуманными образами благой фантазии.

Мнимая же грядущая эпоха всеобщего счастья казалась сколь весьма ослепительно пламенной будучи как раз на своей вполне до конца единственно правой стезе.

Однако вся эта сладостная кутерьма была нацелена лишь на одно — на самое вот воображаемое «лучшее», никак не опирающееся на должный труд нынешнего настоящего.

А между тем подлинный вклад в грядущее счастье всегда требует не дежурных восторгов, а большого труда и терпения; не лозунгов, а самых разных форм воспитания подрастающего поколения; не яростных рывков, а медленного и упрямого движения вперед.

31

И казалось бы, все это отвратительно грязное бывшее следовало бы попросту же закопать в свежей могиле позавчерашнего прошлого.

Однако ради подлинного приближения будущего нужно было воевать не с до чего только длинными тенями давно свое отживших эпох, а весьма настойчиво выращивать живые ростки светлого грядущего.

Не крушить в капусту основы старого мира, а насаждать нечто лучшее и новое.

И ради этого вполне вот и стоило бы повозиться в грязи —

терпеливо, последовательно, а главное безо всякой брезгливой позы.

Иного верного пути здесь попросту не было и нет, а заодно и не будет никогда существовать.

И это именно ради создания несколько лучшего бытия и следовало научиться — пусть редко, пусть вскользь, но на деле — соприкасаться всей тонкостью собственной духовности со всяким сколь еще липким жизненным сором. Потому что если интеллектуальная элита замыкается в стерильном вакууме абстракций, то сладковатый яд пропаганды неизбежно так низводит ее роль до самого так невольного обслуживающего персонала чужих, сугубо собственнических интересов.

А эти интересы всегда были и остаются сколь еще глубоко враждебны всякому реальному благополучию обездоленного народа.

И речь здесь вовсе не о чем-то давно ушедшем.

Наше несветлое прошлое зеркально отражается в нынешнем блеклом настоящем. Отсюда и та странная наивность некоторых современных представителей творческих профессий, которые с почти детской искренностью объясняют собственную востребованность «вкусами публики», «пошлостью времени» и «сладким мраком эпохи».

На деле же все куда проще.

Это не требования времени.

Это не рок истории.

Это обычный самообман, аккуратно подкрашенный под самую неразборчивую жажду большого финансового успеха и

неземной славы.

32

Любой социальный заказ искусству может быть выполнен лишь в той мере, в какой само искусство оказывается готово продать свои принципы в обмен на сколь еще щедрую пайку.

И никак вот совсем оно не иначе.

Но отчего это вообще возникает потребность в таком заказе?

А все дело тут в том, что стремление к максимально простым решениям, к удобному изгибу жизни, самым естественным образом продолжается и в сфере духа.

Мы очень быстро привыкаем к комфорту, создаваемому техническим прогрессом, и столь же охотно переносим эту привычку в область мышления и чувств.

Техника избавляет нас от тяжких физических усилий.

Социальный заказ — от усилий сугубо внутренних.

И вот уже вместо живого напряжения рождается тот самый заранее готовый шаблон.

Вместо весьма достойного поиска смысла всего бытия — услужливая и готовая формула.

Вместо умственного труда — аккуратно упакованный суррогат казенного, совсем уж вовсе нездорового смысла.

Так личное удобство постепенно подменяет глубину, а мгновенность готовых ответов — настоящую интеллектуальную зрелость.

И человек, явно привыкший к исключительной пользе технического и незамедлительного решения сложных вопросов бытия, начинает требовать того же от искусства,

философии и самой жизни.

Именно здесь круги и смыкаются: прогресс освобождает тело — и почти уж совсем незаметно подвергает дух коррозии.

33

Массам — хлеба и зрелищ.

Это само собой разом вполне так понятно.

Но чего же тогда будет потребно душе баловней судьбы — новых патрициев?

Ответ он более чем удивительно прост.

Технически изощренная цивилизация неизбежно жаждет особого стиля — такого, что будет никак недоступен простым смертным и потому станет надежной оградой между необычайно «возвышенными людьми» и сколь откровенно совсем так издали глубоко же прочувствованно презираемым ими плебсом.

Кое-кому точно вот возжелалось именно стиля, явно дозволяющего интеллектуальной элите сколь еще откровенно ощущать себя некоей отдельной кастой — по праву вкуса, языка и неких уж вовсе не житейских абстракций.

И, разумеется, всегда находятся те, кто с готовностью возьмется исполнить данный социальный заказ.

В философии столь откровенно уходящей от живых реалий в метафизические туманы и бесконечные рассуждения о главной «сущности всего того ныне существующего бытия».

В политологии — заботливо прикормленной властью и превращающей обман доверчивого народа в культ того самого единственно правого вождя.

Как ни назови его должность — суть от этого не меняется:

в России царя с тем же успехом можно было бы именовать главным кучером.

И именно под звездным сиянием весьма ведь обезличенно «светлого будущего» и произошло самое последовательное возрождение первобытной дикости — уже в декорациях самого новейшего века, и вправду ставшего эпохой самых изощренных открытий в области всеобщего нашего взаимоуничтожения.

Имперская помпезность лишь раздувает амбиции тех, кто силен не умом, а одной лишь весьма властной привилегией.

Военные и гражданские начальники начинают ощущать себя властелинами мира.

А между тем коли их «деяния» и отзовутся сквозь тысячелетия, то разве что вот только самым явственным чувством стыда и страха.

Наша планета весьма тонко настроена — и мы уже точно нарушили этот ее баланс, пусть чаще по глупости и жадности, чем по вполне сознательному злодейству.

И лучше бы нам вовсе не доводить до того, чтобы весь этот мир стал по-настоящему пустынным.

Идеология слепой силы, заточивающая когти хищных империй, выжигает человеческое в тех, кто принимает решения, оставляя при этом до чего широкие границы для самого так вполне же «допустимого» насилия.

Людей же превращают в винтики машины, созданной ради «государственного счастья», а не ради тихой радости каждой вот самой отдельной личности.

Такое счастье обретает плоть в образе бессменного вождя — и ослепляет собой все пространство подверженное его

власти.

Символом становится не свобода, а страх.

Родное отечество начинает напоминать тюремную камеру со всем том вполне же соответствующим укладом.

Но тот самый тюремный пахан никогда уж не пересоберет всю действительность в несколько лучшем формате.

Он ведь служит лишь себе — и требует языческих обрядов, прежде всего человеческих жертв.

И этим явно заражается не только безликая толпа — этим заражаются и образованные люди, искренне верящие, что руль истории в «надежных руках».

А между тем чтобы избавить народ от тьмы, нужно быть светочем, греющим сердца, а не фонарем, едва освещающим дорогу.

Невозможно повести народ вперед, не соприкасаясь осторожно и трезво с самими темными сторонами общественной жизни.

Они становятся смертельно опасными лишь при погружении и растворении в них.

Извне же их можно рассматривать с любого расстояния — важно лишь быть готовым дать должный отпор.

Самый страшный зверь на свете — тупое людское невежество.

Вот подлинный враг прогресса.

Трагедия же состоит в том, что нашлись идеалисты, решившие зажечь солнце гуманизма, уничтожив вместе с неким чисто абстрактным злом и всех живых его будто бы изначальных носителей.

А простой народ явно поверил всем этим кликунам, явно

зовущим толпу стать «вольными господами», — и взялся за дело с искренним рвением, по-старинке готовый умирать за громкие и гулкие идеалы.

И разумеется уж достаточно так, быстро затем нашлись и те, кто этим сходу вот верно воспользовался.

Верные себе демагоги шустро принялись строить общество древнего рабства в новой идеологической упаковке.

Подтянулось и «всеядное искусство», щедро кормящее массы сладкой, липкой пошлостью.

Она ведь крайне прилипчива.

И должно было смениться два поколения, чтобы стало ясно: обещанный путь ко всеобщему счастью был лишь одного только видимостью.

Однако толпу всегда можно вдохновить некими новыми лозунгами.

Она привычно со всею душою внимает своим властителям.

А потому при нужном «духе времени» массы столь же легко толкают из одного пламени в некое другое.

34

И при всем том роль искусства в формировании нового образа сознания у самого же простого обывателя поистине так велика.

Причем вовсе не обязательно, чтобы оно полностью открыто восхваляло прелести господствующей идеологии — зачастую в этом попросту нет никакой нужды.

Достаточно и того, что подлинно талантливое искусство либо откровенно продается, либо предназначается исключительно для избранных.

И тогда из него без особого труда лепится вполне

удобный для всякой тоталитарной власти инструмент — пригодный для повседневного обслуживания ее еще изначально мертворожденной доктрины.

Разумеется, здесь никак не обойтись без помощи художников, скульпторов и кинорежиссеров, ибо именно их труд наиболее нагляден и доступен массовому восприятию.

А между тем эти духовные гиганты подчас живут в несколько ином, весьма отрешенном измерении, нежели тот самый остальной мир.

С высоты своего Олимпа им порой были почти неразличимы страдания масс — они оттуда вполне вот кажутся далекими, абстрактными, едва заметными.

И потому деятели искусства вполне так искренне будут способны творить трафаретно-плакатную реальность — именно в том виде, который и впрямь оказывается наиболее удобен тем, кто в их Богом забытой стране держит власть не обладая при этом не малейшим же нравственным стержнем.

35

А люди безмерно возвышенные, пускай себе всласть наслаждаются всем тем чисто своим довольно-то малодоступным невежественным массам искусством.

Ну, а всякий простой народ при всем том еще и специально будут буквально-таки вдоволь обкармливать форменной пошлостью.

Причем осуществляться все это будет именно ради самого уж до чего еще более чем извечного поддержания в обществе только лишь того одного вполне ведь полностью до конца устоявшегося состояния, при котором и существует то

веками нисколько не изменяющееся повседневное расслоение... Причем это вот, в сущности, и есть, собственно, то, что уж сегодня более чем повсеместно и происходит в России.

Пошлость народу — это именно тот всеобъемлюще статный новый лозунг современного российского шоу-бизнеса.

И уж смотря исподлобья вертикально вверх на всю ту совсем безвольно воспарившую к сизым облакам интеллигенцию, чиновники от современной культуры так и потирают при всем том руки и сколь искренне они вполне самодовольны!

А между тем всему тому их успеху на данном поприще неизменно способствует как раз именно то обстоятельство, что российская интеллигенция буквально пресыщена своим собственным донельзя многогранным, но явно при всем том довольно же подслеповатым самоощущением...

36

Однако все это относится разве что к тем творцам немассового искусства, кто в силу своей более чем откровенно эгоистичной элитарности и вправду оказывается почти недоступен пониманию всего того «бескрылого большинства».

А вот тех, кто видит мир иначе — по-своему, но без до чего только заумного оригинальничания, — тоталитарное общество не потерпит вовсе: таких оно планомерно и методично затравливает всеми имеющимися у него средствами.

И именно так, по «многочисленным просьбам трудящихся масс», к художникам, шагающим не в ногу, в свое время и применялись вполне наглядные и само собой удивительно

веские бульдозеры.

Это, собственно, и был тот редкостно убедительный аргумент в том самом безумно яростном споре, каковое место по самому своему уж определению и должно было занимать всякое искусство, попросту никак не вписывающееся в утопически оптимистический канон единственно верной социалистической действительности.

37

Причем абстракция как форма совсем так чересчур же расплывшегося вишь и вкось, однако при всем том отнюдь не всегда виртуозного творчества от всего этого и близко совсем не пострадала.

Напротив — именно благодаря всему тому тогда происходящему она лишь еще только выше вознеслась на свой напроць лишенный всякой конкретной формы многогранный Парнас.

Хотя, в сущности, свое довольно скромное место под солнцем ей было от века вполне определено же на деле все-таки отведено.

И ведь главным образом все — это произошло именно потому, что американские политические деятели из своих до чего так холодно-прагматичных соображений столь решительно и безо всяких колебаний вполне разом подставили абстракции в живописи сколь уж и грубое свое капиталистическое плечо.

А между тем абсолютно любое столь вот беззастенчивое вовлечение искусства в политические игры неизбежно еще будет затем чревато его крайне беззастенчивым

опошливанием и смешением с грязью.

То есть сатрап СССР весьма основательно извозил в зловонных идеологических нечистотах не только собственную культуру — но и чужую.

38

И, кстати, до самого основания замарать великих людей — чтобы они и впрямь с головы до ног увязли в тине пошлых интриг или вот еще хуже захлебнулись в тюремной параше, — было как раз-таки той самой сладкой мечтой до предела переразвитого тоталитаризма.

И коли уж нельзя было известить массовое искусство — ибо без него вся система советской киноиндустрии слишком быстро бы захирела, — то куда вот попроще оказалось вовсе не давать ему увидеть свет, попросту никак не выпуская на широкий экран.

По-настоящему талантливые фильмы без долгих прений клали «на полку» как раз по этому тогдашнему универсальному и сугубо цензурному принципу.

И все это безмерно тягостное вмешательство серой власти СССР в великое по духу творчество происходило из одного только вполне же прозрачного устремления: не допустить ни малейшего неподконтрольного отображения суровых реалий железного века.

Нет — всякое их проявление в большом искусстве должно было следовать одной-единственной, безупречно удобной начальствующему взору схеме — приглаженной, выхолощенной наглядности, существующей лишь в сознательно извращенных формах искусно

распропагандированного, вычурного бытия.

39

Пейзаж сегодня, слава Тебе, Господи, действительно во многом переменялся.

Однако ту самую, зияющую острой болью реальность и ныне лишь еще только усерднее залепляют ведьминым отваром сладковатой пошлости — ибо ничего более «чудодейственного» в природе вещей, увы, никак не существует.

Ведь на деле бывает вполне достаточно всего лишь перевести хорошую книгу в дурном ключе — и она неизбежно начнет служить совсем иным целям, нежели чем были те, ради которых та была еще изначально задумана ее автором.

Прекрасный замысел довольно так легко будет опошлить и затемнить грязным, слащаво-вульгарным перевоплощением на другом языке.

К тому же массовое искусство нередко намеренно низводят до трафаретно-праздничного уровня.

И делается это прежде всего ради того одного, а именно чтобы добиться искусственно облегченного восприятия реалий и без того никак нелегкой жизни.

Ее сегодня сколь беспрестанно стараются подсластить, тщательно приукрасить, обернуть во всякую легко удобоваримую мишуру.

И при этом забывают главное: подлинно народная песня почти всегда печальна — а вовсе не восторженно-слащавая.

40

Причем почти весь духовный прогресс в этом вопросе шаг за шагом более чем неизменно следует за тем самым весьма

безотказным и беспросветно низкопробным техническим развитием.

И вот чего только пишет обо всем этом Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы»:

«Создать, проявить, собрать красоту человека такую, чтоб она была реальной, живой, — это большой подвиг, тяжело. Проще дать общую форму, в ней подчеркнуть, выпятить какие-то отдельные черты, отражающие тему — ну, гнев, порыв, усилие.

Скульпторы идут на намеренное искажение тех или иных пропорций, чтобы тело приобрело выражение, а не красоту. А изображение прекрасного тела требует огромного вкуса, понимания, опыта и прежде всего мастерства.

Оно практически недоступно ремесленничеству, и в этом главная причина его мнимой устарелости».

И ведь нет ни малейшего признака хоть какой-либо подлинной устарелости в том самом сколь безупречно главном же сегодняшнем устремлении духовно «развитых» людей России и ближнего зарубежья — взять бы да весьма деятельно переложить все тяжкие общественные заботы на совершенно чужие, покатые плечи.

А между тем — это и есть то ведь самое грубое ремесленничество, но уже в сфере более чем последовательно переосмысления общественного бытия: умение упростить, обобщить, снять с себя ответственность и заменить живое усилие готовой схемой.

И именно как раз оно сегодня и пришло на смену сомнению — потому что сомнение ныне теперь оно вовсе так никак

никому не к лицу.

41

И вот — в этом будто бы исключительно новом обличье — вновь возрождается то самое до чего древнее язычество, поскольку новая «кровохаркающе-нигилистическая мысль» неизменно формирует в человеке главное, чего в нем давно уже не было, — истую веру во всесильных идолов.

Только теперь они оказываются кем-то совсем не наспех созданными из реально живой плоти, а вовсе не из дерева.

А здесь и следует трезво и жестко отметить: именно те, кому пламенно достались бразды правления, и принялись при помощи чужих рук и талантов отчаянно воздвигать самые наглядные образы идеалистического толка — исключительно затем, чтобы во всей полноте проявилась «благодатная сущность» их красноречивого царствования. А потому-то и стала столь стремительно востребована от искусства вся эта вящая монументальность — как верная дань обожествленным во плоти людям-идолам.

И служит она сразу вот трем богам.

Во-первых, она настойчиво подчеркивает мнимую многовековую незыблемость власти, будто бы пришедшей навсегда.

Во-вторых, именно монументальность призвана подтверждать ее жизнеспособность и якобы великую мощь.

И, в-третьих, она же внушает подданным нового императорского — пусть и формально пролетарского — трона благоговейный трепет и самое неумное восхищение.

42

И, в сущности, ничего уж безупречно нового с тех

самых древних времен так ведь и не возникло — лишь привилегированная каста в ту довольно-то далекую эпоху была сравнительно мала и, пожалуй, еще не столь всепоглощающе агрессивна в смысле возжелания всех тех мыслимых и вовсе немислимых благ.

А едва ли не единственным — и далеко не самым худшим — «новшеством» революционных реалий стало лишь то, что общее количество нахлебников и паразитов на теле народа ныне возросло в сущие же разы.

И главное — произошло это именно ведь потому, что так и раздувшийся до самых непомерных размеров бюрократический аппарат и есть самая наглядная, наиболее устойчивая часть повседневного быта всякого царства светлых и радостных обещаний.

Причем речь здесь идет совсем не только о государстве тех еще «освобожденных пролетариев», якобы точно вот навсегда разорвавших путы прежнего рабства.

Нет — сама по себе гигантская бюрократическая машина была и остается сколь неотъемлемым свойством любой империи, расплзающейся по швам и изъеденной коррупцией от края до края.

А нечто подобное всегда предвещает ее самый скорый и весьма прискорбный конец — а вовсе не начало некоего нового, никем прежде не испытанного высокоидейного существования в далее так будто бы сколь еще мнимо бесконфликтном мире.

Причем почти для всякой империи ее мелкие обыватели — не более чем пешки на шахматной доске поистине уж попросту

необъятной общественной жизни.

Новоиспеченный диктаторский режим в своем нынешнем обличье разве что лишь многократно укрупняет эти черты, но вовсе не создает ничего принципиально нового — ничего такого, чего человечество уже не видело прежде.

Он точно так же плодит армии осатанело амбициозных бездельников, не производящих ничего, кроме суедей пустой болтовни, — причем в самом прямом и до крайности безыдейном смысле.

И потому совершенно уж напрасно взывал Антон Павлович Чехов к тому, чтобы все разом и дружно взялись за «славный физический труд».

От всех подобных горестно-слащавых воззваний остались лишь пустозвонно благие намерения — а этого, разумеется, оказалось катастрофически мало.

Для злосчастных же уроженцев сталинской эпохи все эти яркие всполохи революционных молний завершились куда прозаичнее: одной сплошной колонией строгого режима, растянувшейся вишь на немислимо необъятную территорию всей той до чего же злосчастной шестой части суши.

44

И тот диктаторский режим, что до самого исподнего своего нутра был фактически насквозь пронизан ложью и при этом во всеуслышание объявлял себя «всенародным».

И ведь сколь еще весьма уютно он устроился под знаменем кроваво-красного вероучения.

И главное с каким же видимым удовольствием он так и принялся штамповать бездушных управителей

серой человеческой массы — туповатых, словоохотливых дармоедов.

Причем производил он их самым вот для себя наиболее естественным способом, безо всяких «отклонений»: строго по теоретическим лекалам, заветным великим демагогом Карлом Марксом.

И это именно той огромной стране и было суждено оказаться в тенетах розовощеко стремительного и крайне циничного начала, столь еще вольготно опутавшего собой всякое вообще общественно полезное разумение.

Та власть, насквозь уж пропитанная зловонным словоблудием, так и насаждала повсюду один лишь страх, беспринципность и полное бесчестье.

Фундамент всего этого был заложен заранее — в виде сколь так многоцветного книжного кликушества, вполне еще призванного стать самой надежной опорой для торжества громогласно разрушительной теории над самою правдой всякой общественной жизни.

Ее восторженное принятие «на ура» родилось из воображения, сколь еще щедро растравленного светлыми идеями.

Именно это нелепое следование в небо, на которое столь безапелляционно указывал чей-то перст, и вызвало буйство эмоций у части интеллектуалов, чрезмерно вознесенных собственным искрящимся духом.

И это как раз эти люди явно вознамерились до чего еще воинственно перекроить весь этот мир — разом, без крови, пота и слез, — во имя самого ведь всего того будто бы сколь

многозначительно же наилучшего.

45

И главное — этим сколь еще бравым фантазерам, явно никак не в меру перечитавшим всяческих благих философских измышлений, и впрямь показалось, будто здесь и сейчас все само собой становится на редкость так окончательно ясным.

Будто бы будет вполне достаточно разом стряхнуть с плеч тяжелые вериги беспросветно темного прошлого — и тогда желанное будущее само собою придет, без труда и каких-либо должных усилий.

Да вот, однако, во вполне доподлинном мире житейских реалий ничего подобного не существует — и существовать не может.

По всей своей сути вся эта система рассуждений была не чем иным, как прямым порождением праздного, умиленного безделья — состояния, полностью оторванного от сколько-нибудь серьезного размышления над действительно сложными и безусловно важными вопросами повседневного нашего бытия.

К тому же обитало оно на весьма значительном расстоянии от живых потоков хоть сколько-нибудь здравомыслящего общественного сознания.

Ибо именно в угаре интеллигентских дискуссий о «переменах ко всему исключительно наилучшему» разом явно исчезла всякая внятная перспектива грядущего — того самого, которое и впрямь еще могло бы стать действительно более

праведной и весьма устойчивой формой общественной жизни.

46

И все те некогда до чего богоспасительные беседы носили тогда, без тени сомнения, один и тот же злосчастный характер — характер сколь еще умиленных сладких надежд, а вовсе не строго и взвешенно выстроенных логических построений.

И вот вам самый наглядный пример — из финала романа Бесы Федор Достоевский:

«Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия.

Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j'aîmais toujours. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней».*

*(*Пусть Россия все та же прежняя.)*

И вполне интересно лишь то одно: где и когда подобное хоть раз уж происходило в самой настоящей действительности? А между тем из всего этого можно с полной определенностью вывести разве что только одно: великий писатель здесь и впрямь отдался именно что самому праздному идеалистическому мечтанию.

Причем мечтанию того самого сколь еще сентиментального разряда, что неизменно так явно оказывается совсем вот бесконечно далеким от сколь еще жестких реалий всякого

повседневного существования.

47

Но, скорее тут всего, что Достоевский всего-то навсего поддался внешнему влиянию — ибо российский либерализм XIX столетия был впрямь насквозь пропитан дешевыми духами Французской революции.

А гильотина новым прореволюционным маргиналам весьма несомненно же показалась средством никак недостаточно радикальным: им потребовалось нечто «поновее» и якобы более же конструктивное, дабы разом изжить всех угнетателей.

Их пылающий резолюциями разум не признавал ни постепенности, ни тщательно продуманных и согласованных с реальностью более чем здравых шагов.

Им нужно было все сразу — здесь и теперь, потому что «потом» могло оказаться уж несколько до чего только поздно: исторические события, не дай бог, были способны же развернуться и явно без их более чем деятельного участия.

Этим яростным радикалам страстно хотелось осветить мрак народного невежества тем светом, который они почерпнули из мира совершенно иного бытия.

Да только заимствовать оттуда можно было разве что с постоянной оглядкой на суровые реалии собственного, бесноватого идеями века.

Потому что если бессистемно хватать раскаленные угольки чуждого вольнодумства, то обожжешь не только руки — можно и весь мир так спалить дотла.

А коли кто и вправду желает вполне полноправно участвовать в великом и сколь крайне неспешном процессе

общественного преобразования, то прежде всего следует ему усвоить именно ту исключительно простую истину: нельзя еще сходу ставить телегу впереди и впрямь чересчур сноровистой лошади.

48

И уж пиши тут не пиши о том, что люди никак не будут способны заново — а тем более лучше — наладить свой быт, обильно пустив кровь будто б и впрямь крайне безжалостных угнетателей, — всегда найдутся такие, кто неизменно отыщет лазейку, дабы благородно уклониться от неизбежного провала той уж извечно грязной, пропахшей сырой землицей их логики.

Причем именно как раз под нее они столь безотлагательно и рьяно закапывают все, что хоть сколько-нибудь вообще возвышается над уровнем самого обыденного общечеловеческого благоустройства.

И это именно при помощи своих искрометно пламенных идей господа товарищи, разумеется, разом и вознамерились, считай в одночасье перекроить весь этот мир — дабы он всенепременно уж вскоре стал сплошным подпольем со всеми его суровыми законами и соответствующим бытом.

Но дело тут было вовсе не в отдельных личностях, а во всей той бесславной породе «либералов-дегустаторов» грядущей всеобщей свободы.

Они сколь неудержимо возжелали до чего немедленного освобождения от любых рамок обыденности то есть от всего того, что еще сохраняло следы XVIII века.

А ведь то столетие явно так и оставалось сколь неразрывно связано с куда более древними эпохами — с почти целиком

доиндустриальным, гужевым и парусным бытием.

И именно на это самое весьма зорко указывает Марк Алданов в своем труде «Истоки»:

«Исторический процесс есть процесс случайный.

В сущности, понятие прогресса мы выдумали на основании лишь небольшого запаса небеспристрастных, часто самодовольных наблюдений над жизнью одной второстепенной планеты в течение двух-трех последних столетий: в шестнадцатом веке люди жили приблизительно так же, как две тысячи лет тому назад, так что тогда говорить о прогрессе было бы уж совсем глупо...»

49

И вся эта ныне совсем безмерно же прославленная культура есть не более чем внешняя оболочка современного человека, тогда как внутри он по-прежнему состоит из точно тех же древних инстинктов.

Причем подчас они явно оказываются, куда сильнее всякой тщательно выверенной логики.

При всем том большинство порывов человеческой души действительно благородны и светлы — и потому вполне достойны самого доподлинного уважения.

Однако иногда уж случается и крайне вот прямо противоположное.

И главное довольно-таки быстро становится ясно: будучи весьма надежно завуалирована внешней культурой, примитивная эгоистическая сущность нисколько не делается хоть сколько-то менее хищной.

Скорее наоборот — именно технический прогресс, а также философия, ударившаяся в ту самую до чего еще элитарную

отрешенность, во многом и поспособствовали как раз тому, что цивилизованный человек почти утратил всякую жалость к ближнему.

А отсюда уже вполне естественно вытекает: к постороннему он начинает относиться лишь как тому еще весьма досадному насекомому.

И чем вот меньше вокруг окажется этих аккуратно обведенных кружочком «ничтожных представителей человечества», тем будто бы лучше, разумнее и праведнее станет весь этот мир.

Причем самой надежной вуалью на хищной морде дикости неизменно послужит некое «общественное благо» — со всеми вытекающими из него оргвыводами, согласно которым кому-то непременно так должно быть худо, ибо он, дескать, безнравственно угнетает простой народ.

Впрочем, все это — лишь грубые слова и самое отчаянно пустое мудрствование.

Потому как то, что бросается в глаза, всегда куда нагляднее и соблазнительнее: оно игриво и радостно мельтешит прямо перед чьим-то лицом.

Ну а к весьма тщательно скрытой подоплеке вещей мало кому действительно хочется вполне всерьез так приглядываться — слишком уж это явно потребует общей трезвости всех рассуждений и внутреннего усилия.

50

Ну а дальше все уж становится до боли просто: есть, мол, подлое угнетение — уничтожить его, и никаких звезд.

Тем более что именно к этому всякого до конца «грамотного человека» издавна тянули и цивилизация, и

чрезмерно раздутая, во многом сколь еще черство-спесивая философская мысль.

Да и современное искусство подчас до чего безбоязненно и беспрестанно занимается разве что лишь прямолинейным вытячиванием внешних черт человеческого сознания — вместо того чтобы со всей ответственностью искать подлинно глубинные, зачастую трагические причины откровенно недостойного людского поведения.

Выпуклость черных души негодяев и геройская удаль людей достойных слишком уж прямолинейны и книжно-красноречивы.

А жизнь куда богаче, сложнее и многоплановее всего того, что способен создать даже самый талантливый и наблюдательный человек.

Вот почему нельзя смотреть в зеркало мира — художественную литературу — и видеть там одно лишь собственное лицо, никак не признавая при этом никаких иных весьма между тем существенных обстоятельств.

Ибо никакая сугубо личная индивидуальность не может быть полностью доступна чужому, поверхностно скользящему по ней взгляду.

А следовательно, всегда необходимо оставлять место должному сомнению в еще первоначальной чьей-то более чем глубокой испорченности.

Все те чисто моральные аспекты слишком запутанны, чтобы судить о людях по одним лишь обобщенным критериям.

Создавая из всего того аморфно общего единый стандарт,

неизбежно так высекаешь слишком острые углы.

Причем одной из самых насыщенных первооснов подобного подхода стала именно та художественная литература.

Мир книг в известной мере призрачен — реальная жизнь в нем никогда не отражается полностью и до конца во всем откровенно.

Тем более таково всякое же массовое искусство.

Оно до чего безбожно укрупняет слишком многое стадное и искусственно усиливает всякое ведь на редкость исключительно поверхностное.

И это именно оно формирует совсем необъятное по всему своему вселенскому масштабу, но при всем том крайне же неглубокое сознание среднестатистического обывателя.

И это уж с его помощью всякое аляповато-восторженное творчество тогда уж и начинает тешить беса больших и малых амбиций — у тех самых червей-буквоедов, откровенно переполненных «глубокомысленными замыслами» о самой вернейшей реализации общенациональных и классовых устремлений.

И разумеется, по их собственному убеждению, все это непременно еще должно было привести к тем самым «наилучшим дням» — к будущему, якобы сколь еще несоизмеримо более светлому, чем все то нынешнее и настоящее.

51

И ведь, как правило, тот самый эгоизм, который неизменно является едва ли не главным стимулом человеческих поступков при подобных крайне нездоровых поползновениях к тотальному разрушению основ прежнего общества, сходу и

вполне осознанно разом ступивывается.

Зато наружу предельно отчетливо выпячивается некий «великий долг перед родиной», а также прочие подобные декларации — по сути своей смехотворные, откуда за ними не стоит самая доподлинная и чисто внутренняя чья-то с молоком матери вполне до конца усвоенная необходимость.

А за всем этим, возможно скрывается лишь одно: тот никуда из нас вовсе не девишийся, до сих самых пор никак не изжитый животный эгоизм.

И потому главная задача нашей современности как раз и состоит в том, чтобы превратить его в эгоизм развитый — в эгоизм по-настоящему во всем более чем широко человеческий.

А для всего того следовало бы еще уж и поискать пути к самому так более чем естественно медленному и постепенному высвобождению внутренних пружин личностного «я».

Причем именно чтобы именно они и впрямь со временем вполне еще смогли вот послужить реальной первоосновой для рождения подлинно всеобщего грядущего счастья.

Да только чего тут только поделаешь, если все эти вычурные принципы политического переустройства общественного бытия — не более чем дикая фальшь и вечная игра воспаленного воображения?

Сознанию куда привычнее будет питаться блеклыми иллюзиями — и потому оно оказывается крайне болезненно подслеповатым.

Оно считай в упор не видит того ведь самого главного.

А именно как раз того, что всем обиденным бытом праздного

обывателя по-прежнему распоряжается все тот же дремучий эгоизм, доставившийся нам от безумно древнейших времен.

И если приглядеться к его свойствам повнимательнее, они явно оказываются на редкость нелицеприятны — каков бы ни был их внешний облик.

Именно об этом, кстати, пишет Уильям Сомерсет Моэм в своей публицистической книге Подводя итоги:

«Я пришел к выводу, что человек не стремится ни к чему, кроме собственного удовольствия, — даже когда жертвует собой для других, хоть он и тешит себя иллюзией, что тут им руководят более благородные побуждения».

52

Да только — это самое до чего сладостное — даже и в самом своем явном предвкушении — удовольствие далеко не всегда оказывается тут хоть сколько-нибудь вполне ведь уместным.

Куда чаще речь идет о жестком требовании к самому себе, а именно той самой непомерно великой жертве, без которой человеку попросту явно так будет никак не обойтись.

Но это и впрямь совсем не романтично — и уж тем более не героично.

«Давайте-ка бестрепетно запрячем все низменное и скотское как можно только подальше, чтобы его отныне вовсе никто совсем не замечал», — говорит нам современная культура.

А философия вторит ей, выводя на первый план государство, а не отдельного человека.

И потому вот все то вполне естественное в человеческой психологии более чем поспешно затуманивается — во

имя тех сколь угодно светлых, но при этом по-прежнему праздных мечтаний о некоей явно оторванной от всяких реалий до чего блаженной же личности.

53

И это как раз над этим искусство и та до крайности же прикладная философия как раз и поработали сколь еще особенно усердно — результатом чего и стали всякие жуткие социальные потрясения.

И никак не стоит думать, будто всему виной тут разве что некие отдельные демонические личности.

Нет — роль политических лидеров становится и впрямь по-настоящему сколь безмерно значительной лишь только тогда, когда они явно оказываются у самого кипящего котла политической власти.

А между тем в том числе и сегодня, когда всякое вот возвышенное искусство и вправду берется обнажать низменные корни человека, делает оно это, как правило, чрезмерно пафосно и аморфно — с до чего еще отчетливым душком «святого пыла» праздности, а вовсе не в попытке показать самые подлинные истоки человеческой добродетели и самых низменных его инстинктов.

А между тем вся эта вдоль и поперек исхоженная грязь житейской обывальщины — не более чем самый необходимый строительный материал для всего того действительно большого и живого.

Причем не только как некий внешний фактор: ей надлежит стать именно корнями того, что уж сколь еще глубоко зреет где-то внутри.

И это разве что прорастая из сырой земли, искусство и

впрямь-таки будет вполне способно как есть действительно потянуться к солнцу — и засиять красками самого подлинного и никем уж явно ненадуманного всеобщего бытия. Тогда как задушевная чистота слишком часто же скрывает в себе крайне так совсем неприглядные черты самых ведь более чем весьма тяжелейших пороков.

И прежде всего — порок святой наивности, один из самых опасных во всей этой вполне по-прежнему до чего только трудной и нелегкой жизни.

54

А впрочем — да: всякое подлинное искусство действительно создает широкую панораму того, что день за днем происходит в мире — блекло, буднично, в сутолоке, — раскрашивая серую обыденность множеством оттенков страстей и чувств.

Однако настоящее искусство вовсе не абстрактно.

Его сущность — не в свете, якобы более чем разом пролившемся на грешную землю с тех еще исключительно так весьма далеких небес.

Нет, в нем есть лишь разве что самая крошечная примесь неземного — преломленного под разными углами в очень богатой на эмоции душе гениальной творческой личности.

И уже потом, со страниц произведения, на нас и может вот изливаться музыка света и теней — если, разумеется, автор внутренне достоин.

Однако ни одной книгой нельзя укрыться от серой реальности сурового бытия.

Напротив — попытка спрятаться внутри слов и букв высокого духом текста лишь делает все окружающее еще уж

явно во всем до чего только безрадостнее.

Миражи «светлого будущего» стали столь выпуклы именно как раз потому, что люди начали воспринимать идеи как нечто более чем вещественное.

А ведь идеи — бесплотны, аморфны и опасны, когда их принимают за некую вполне материальную данность.

Сознание масс меняется не метафизическими формулами, а простыми, житейскими стимулами.

Философские бредни стоит оставить книжным теоретикам.

Простому человеку нужны самые элементарные вещи — ему вот точно никак не до полета чьего-то крайне утонченного ума.

Его сознание формирует до чего широкий, грубый, непритязательный общественный быт.

И многие его черты откровенно скотские и стяжательские. Эти люди вполне способны отличить барана от баранки — но любые философские постулаты для них звучат как латинская тарабарщина врачей между собой.

Причем если обычные доктора лечат тело, то «доктора общественных язв» нередко калечат разум.

Потому как всякий тот, кто насильно притягивает заоблачные идеалы к серым житейским реалиям, губит то, что должно было прорасти из земли, а не рухнуть с небес.

Новому и светлому надлежало взойти снизу — из недр повседневной, сколь еще донельзя упрямо скотской действительности.

А это рост, а не обрушение небес на землю.

И если образованные, духовно развитые люди действительно

видят на горизонте светлые дали, то пламя, возносящее души, должно быть несколько иным, чем то, что сжигает плоть инакомыслящих.

То есть оно никак не может иметь ничего общего с кострами на которых новая священная инквизиция будет сжигать всех тех даже и потенциальных противников «единственно отселе верных истин».

Да и вообще всякие нарезанные ломтями догматы сходу так превращают всякий дух живой мысли в один только мелко нарезанный мясной фарш.

Ну а тем самым исходным сырьем для того фарша становятся самые лучшие люди своего времени — и их во всем том дальнейшем никак затем ненародившиеся потомки.

Правда кто-то без всякой меры явно уж чересчур так резво спешил.

Да только вот кому-то тому, кто желал «всего и сразу», следовало бы уйти куда подальше от общества и стойко воплощать в жизнь свои теории где-нибудь далеко в тайге, посреди верных единомышленников.

Да, среди этих людей были вполне искренние, светлые души, действительно желавшие спасти весь этот мир от всех тенет лютной тьмы.

Но золотая монета истины в их речах слишком уж быстро подменялась грязным и потным медяком всякой вот крайне липкой и слащавой демагогии.

А кроме того они явно не знали законов живой диалектики — или попросту разом на корню отрицали все уставы серой повседневности.

Да и вообще вот все те, кому важна была форма, а

не содержание, более чем охотно примыкали ко всем тем вполне искренним идеалистам — не понимая, в чем именно заключается то или иное общественное благо.

В итоге все это столпотворение праздных мечтателей вполне на деле становилось смертельно же опасным для всего того, где еще только теплилась искра разума.

Ну а потом разом настало адское время отчаянно горьких революционных явей.

И уж, ясное дело, всплеском анархии неизбежно вскоре так приходило сущее наводнение воинственной серости, вальяжно облачившейся в шкуру идеализма ради безраздельной власти над совершенно отныне обезличенными массами.

Да уж одних тех весьма искренних ожиданий добра оказалось довольно-то весьма маловато.

Книжные откровения никак не заменяют реальной работы над человеческой природой.

Именно так тот самый «сладостный скарб» возвышенных чувств обернулся сосудом скорби — в стране, где надолго воцарилось самое бескрайнее насилие.

Однако вот даже в годы великого террора точно те мечтатели столь же благовейно продолжили грезить о времени, когда бесподобно жаркое и сладостное добро обнимет разом так сходу уж всех и поведет за ручку в царство истины.

И это именно они столь доблестно построили совершенно иной мир в своем воображении — и никак не заметили, как подлинная реальность захлебывается кровью во имя той бесславной и лживой иллюзии.

Если же подлинное счастье когда-либо вообще и будет еще

возможно на деле создать, то лишь на земле хоть сколько-то очищенной прежде так всего от всякого суетливого себялюбия в людях не напечатанных на плакатах, а вполне себе явно живых и тяжело дышащих под всем тем немалым гнетом своего склочного быта.

Но вместо этого вполне нашлись те на редкость пронырливые прохиндеи, пообещавшие до чего мгновенно же воплотить «новые принципы», а на деле они повели общество по пути, где иллюзия оказалась гораздо важнее всякой до чего простой людской жизни.

55

Хотя тут, разумеется, никто и спорить ведь вовсе никак не станет.

Да — сияюще радостное соприкосновение с возвышенным искусством действительно облагораживает душу человека, делает ее утонченнее и значительно светлее.

Однако именно этакая суцкая замороженность необычайно благостным светом безо всяких лишних церемоний способна разом вот заслонить собой все то совсем вот непотребно бездонное царство социального зла.

А уж сместить его с этого вечного трона будет никак невозможно никакими до чего только спешными переименованиями и перераспределениями всяких общественных благ, ибо зиждется все то социальное зло никак не на доктринах, а на самой людской психологии — не на лозунгах «по совести», а на глубинных привычках сознания. Можно сколько угодно менять названия и переставлять фигуры, но главные постулаты общественной жизни при

этом останутся в точности теми же.

Подначивать же бедствующих пролетариев идти «иным путем», не меняя самих так сказать оснований быта, означает всего лишь облачать их в яркие одежды праздных иллюзий.

Голод и холод устраняются не декларациями — их можно ликвидировать лишь со временем, весьма последовательно снося чертоги и сегодня так никак не вчерашнего невежества. А достигается это одним лишь самым постепенным повышением общей образованности серых масс простого народа.

Причем просвещение должно быть по-настоящему аполитичным: того, кто не умеет мыслить самостоятельно, никаким промыванием мозгов ничему не научишь.

А те, кто способен напрягать ум, разберутся сами — дай им лишь подлинную возможность стать действительно грамотными.

Однако же воспитанные в духе восторженной праздности всегда так стремились одолеть крутой подъем одним рывком, выводя до чего простые формулы самого мгновенного всеобщего спасения.

И почерпнули они их из книг, где черным по белому было написано, будто резкий разрыв с прошлым создает условия для будущего счастья всего человечества.

И, разумеется, дело тут вовсе не в самом искусстве.

Куда опаснее те, кто истово исповедует ту самую мнимую самовозвышенность всякого «приобщенного» и припиленного к светлой духовности, то есть того, кто всею

душою соприкасается с культурой издали, потребительно и крайне так во всем утилитарно.

Главной опорой этой зыбкой позиции служит самая явная убежденность, что достаточно ведь будет внимать искусству всей воспаренной душой — и этого будто бы уж явно окажется вполне вот довольно для весьма полноценного внутреннего преобразования.

А между тем без труда мысли, без дисциплины понимания и без реального участия в жизни никакое эстетическое умиление не способно изменить ни человека, ни тем более общество.

56

Однако при всем том тем сказочно восторженным либералам зачастую никак не было суждено хоть сколько-то вполне уразуметь главное: всякий вычурный слог произведения — всего лишь нескромная наука выставлять наружу красивое по форме, но вовсе не по всему своему подлинно величественному и трепетно духовному содержанию.

Внутреннее оно уж неизменно требует всепоглощающего чувства сопричастности, а не одного лишь весьма благостного умиления внешней красотой самых так разных форм человеческого творчества.

Даже живая и неживая природа, между тем, прекрасно умеет творить — что, однако, совсем еще не повод для ее самого безоглядного обожествления, как это некогда делали наши до чего далекие предки.

Природное творчество всегда несет в себе собственный, не поверхностный, а прежде всего внутренний и элементарный

смысл.

И творению рук человеческих надлежит быть именно таким же — иначе оно становится одной лишь бездонной пустопорожностью в красивой, внешне ослепительной обертке.

А также вот вполне уж ясно и то, что подобные яркие задумки восторженного воображения неизбежно вредны своим псевдоподобием реальным условиям не книжного бытия.

Подсахаренная жизнь более чем объективно делает действительность разве что лишь только солонее, чем она и так была некогда прежде.

Жизненная правда подчас слишком горька для всякого своего весьма полноценного отображения?

Да — именно так оно и есть.

Однако — это одно ведь самое честное и смелое раскрытие всей подноготной крайне уж вязкой во всей своей сущей безыдейности сколь и впрямь на редкость невзрачной действительности и будет действительно на деле способно когда-либо по-настоящему изменить ее к чему-либо совсем безупречно явно так наилучшему.

Всякое же исключительно сладострастное приукрашивание пресной и будничной окружающей жизни разве что лишь сколь немилосердно отягощает ее и без того многочисленные изъяны.

Причем речь тут идет как раз о той сколь обыденной современности, которая для кое-кого с самого зарождения весьма неизменно казалась до самого так отчаяния

полностью же опостылевшей.

57

Причем сделать ее хоть сколько-нибудь значительно лучше — задача, и впрямь, непосильная для одного поколения действительно интеллектуально развитых людей.

И все-таки уже сегодня крайне необходимо хоть что-нибудь предпринять ради того, чтобы для наших праправнуков обычаи военного разрешения споров между царствами и государствами в конце концов превратились в нечто столь же дикое и архаичное, как древние папуасские практики поедания своих лютых врагов.

И для всего этого никак не подойдет никакая вычурная «борьба добра со злом».

Здесь требуется нечто совсем иное — то, что способно обнажить человеческую натуру во всей ее предельно неприкрытой (в пределах пристойности) всякой той еще самой откровенной дикости.

Да только как до этого дойти, коли куда легче будет высмеивать армию, чем политиканов, подло использующих ее во имя собственных олигархических интересов?

Вонзать клинки в живую плоть — дело, оказывается исключительно уж явно до чего вовсе-то до конца, благородное.

А вот обнажать уродливую изнанку той тьмы, что более чем явственно звучит в самом громогласном слове «война», никто никак никогда не спешит.

И главная причина того, почему подобное обнажение никому не по вкусу, кроется именно в том, что внешний глянец восторженного героизма и пышной чувственности легко

заслоняет собой целый мир страданий и страждущих.

Зато именно он сколь безотчетно наделяет некоторых недалёковидных стратегов ощущением могучего импульса к тем еще самым до чего только «магическим» преобразованиям.

И тогда эти ярые зачинатели «славных дел» начинают ощущать себя настоящими чудотворцами — людьми, которым будто бы достаточно громко и раскатисто произнести нужные заклинания, чтобы все необходимое тотчас же произошло само вот собой.

58

И ведь все это — не более чем самое искрометное же производное удивительно нежных чаяний, настоянных на восторженном оптимизме и слякотно-благодарных ожиданиях куда более светлых дней некой иной, чем прежде, необъятно широкой общественной жизни.

Да только все это оказалось на деле так преждевременным — донельзя аморфным и пафосным.

А для всякого своего доподлинного воплощения в жизнь все эти общечеловеческие устремления неизбежно должны были опираться на одну лишь крайне незатейливую и обыденную житейскую правду.

И добыть ее можно было разве что из всякого мелкого сора и самой неприметной серой обывальщины — не брезгуя ничем из того, что способно ненароком запятнать и надолго испачкать.

А это, в свою очередь, неизбежно же требовало самого непосредственного соприкосновения с тем крайне нежеланным и прискорбным — со всем тем, что и впрямь

поднимает в душе черный мрак отворачения и горя.

И потому, чтобы не мудрствуя лукаво на деле осуществить действительно так насущные социальные перемены, искусство — вовсе не заоблачно элитарное, а живое — должно было сколь бескомпромиссно и прилюдно обнажать гниющие язвы всего того весьма современного ему общества.

59

Ну а самые всевозможные милостивые и торжественно-клятвенные начертания ласковых красотостей общественную жизнь вовсе не украшают — они лишь делают человеческую душу несоизмеримо стыдливее и одновременно с этим приторно восторженнее.

Слащавая патока пафосного слога не рвет душу на части — напротив, она вполне во всем способствует слепому читательскому самолюбованию.

Внешнее удобство изящной формы это и есть главный признак литературы, создаваемой именно ради максимального ублажения читателя, а также ради столь же вздорного заигрывания с теми наиболее отвлеченно-мечтательными струнами в самой глубине его души.

И именно здесь пролегает та до чего суровая, ни с чем не соразмерная граница между подлинной — почти всегда «кровоточающей» — фантазией и всеми теми уловками, что более чем беззастенчиво пытаются всецело ее подменить всякими крайне дешевыми суррогатами.

60

И именно в таком ярком свете всякая прежняя радость от всего того светлого в этой жизни сходу же превращается

в самый универсальный ключ буквально ко всему в этой необъятной вселенной, которая при этом весьма резко и вполне явственно совсем не в меру более чем схематично упрощается.

А происходит нечто подобное главным образом как раз потому, что кто-то так и не желает понять простую вещь: легкость и простота — не исходная данность, а высшее достижение тех, кто сумел создать для них вполне вот исключительно реальные условия.

И чтобы они действительно возникли, другим людям прежде ведь всего пришлось на деле запачкать свои белые манжеты — грязью труда, а не чужой кровью.

И именно так оно и должно было быть ради хоть скольконибудь вполне еще достойного будущего всех их грядущих потомков.

Однако ход мысли у некоторых явно пошел в совершенно иную сторону.

Они вознамерились все и везде сходу вот переделать, сколь наивно при этом полагая, что данное «исправление» и впрямь еще окажется совершенно естественным и полностью окончательным.

А следовательно, для их горячих сердец великий оазис неземного счастья будто бы уже был где-то совсем рядом: достаточно лишь насильно распрямить согбенный стан скромного труженика — и дальше все само пойдет «как по маслу».

И именно в этом ключе зарождаются всякие благостные теории самого мгновенного преобразования мира во что-то до

чего и впрямь сказочно светлое.

А на этой почве и возникает само понятие «бесслезной целесообразности», а из него далее прорастает чертополохом самая колоссальная жестокость, прежде так и неведомая во всей и без того доселе кровавой истории.

И вскоре уже никого далее не будут вот ужасать черные реалии хищного идеями века — слишком обыденными они тогда становятся.

Причем одной из суровых первооснов этого серого конгломерата, ставшего затем и стражем, и орденом революции, было как раз то, что человеческая масса попросту совсем перепрела в тех самых весьма скудных условиях нового урбанистического быта.

А те, кто поднялся над ней, начали ощущать себя не просто господами, но и вершителями судеб — людьми, для которых законы пишутся явно никак не про них, а для «тупых низов». Эти выскочки вышли из мрака неизвестности, и потому их души затем и оказались разве что лишь поверхностно облагорожены.

Вот почему просвещение таких людей сколь нередко лишь разом усиливает в них всю ту чисто прежнюю дикость, придавая ей форму холодного, апатичного безразличия ко всему, кроме разве что своего собственного ненасытного «я».

И в это наше якобы сколь еще просвещенное время внешне культурный и респектабельный человек вполне способен, выйдя из концертного зала, тут же перейти к делам куда более прозаическим — скажем, к хладнокровному и предельно прагматичному устранению зарвавшегося конкурента.

А порой — и к чему-то несравненно так явно еще только

худшему.

Ибо в отчаянной борьбе за место под солнцем нынешние финансовые акулы без колебаний готовы угробить массы людей — лишь бы урвать кусок пирога, показавшийся им слаще того, что у них уже доселе был и есть.

61

Культура и искусство людей ни в чем хоть сколь-нибудь существенно не изменяют — они лишь делают их разностороннее, умственнее развивают.

А нечто подобное, в случае с самыми отъявленными негодьями, однозначно и безрадостно лишь усугубляет тот и без того самый явный ущерб, который они и впрямь еще будут способны причинить окружающему обществу.

И вот — более чем наглядный пример того, как дикарь, став почти полноценно культурным, но так и оставшись в душе тем же язычником, благодаря приобретенным им знаниям оказывается куда поболее страшным зверем, нежели был прежде — еще тот совсем примитивнейший вандал, с ними никак пока не знакомый.

Джек Лондон, «Морской волк»:

— У Спенсера?! — воскликнул я. — Неужели вы читали его?

— Читал немного, — ответил он. — Я, кажется, неплохо разобрался в «Основных началах», но на «Основаниях биологии» мои паруса повисли, а на «Психологии» я и совсем попал в мертвый штиль. Сказать по правде, я не понял, куда он там гнет. Я приписал это своему скудоумию, но теперь знаю, что мне просто не хватало подготовки.

У меня не было соответствующего фундамента.

Только один Спенсер да я знаем, как я бился над этими

книгами.

Но из «Показателей этики» я кое-что извлек.

Там-то я и встретился с этим самым «альтруизмом» и теперь припоминаю, в каком смысле это было сказано.

«Что мог извлечь этот человек из работ Спенсера?» — подумал я.

Достаточно хорошо помня учение этого философа, я знал, что альтруизм лежит в основе его идеала человеческого поведения.

Очевидно, Волк Ларсен брал из его учения то, что отвечало его собственным потребностям и желаниям, отбрасывая все, что казалось ему лишним.

— Что же еще вы там почерпнули? — спросил я.

Он сдвинул брови, подбирая слова для выражения своих мыслей, остававшихся до сих пор не высказанными.

Я чувствовал себя приподнято.

Теперь я старался проникнуть в его душу, подобно тому как он привык проникать в души других.

Я исследовал девственную область. И странное — странное и пугающее — зрелище открывалось моему взору.

— Коротко говоря, — начал он, — Спенсер рассуждает так: прежде всего человек должен заботиться о собственном благе. Поступать так — нравственно и хорошо. Затем он должен действовать на благо своих детей.

И, в-третьих, он должен заботиться о благе человечества.

— Но наивысшим, самым разумным и правильным образом действий, — вставил я, — будет такой, когда человек заботится одновременно и о себе, и о своих детях, и обо всем

человечестве.

— Этого я не сказал бы, — отвечал он. — Не вижу в этом ни необходимости, ни здравого смысла.

Я исключаю человечество и детей. Ради них я ничем не поступился бы.

Это все слюнявые бредни — во всяком случае, для того, кто не верит в загробную жизнь, — и вы сами должны это понимать.

62

А между тем человек подобного склада, пока еще действительно веря в существование Господа Бога, по крайней мере хоть чего-то на деле действительно опасался: он и впрямь ожидал возможной кары — если не в этой жизни, то в той, что каждого из нас рано или поздно неизбежно ожидает.

Но, вот раз и навсегда разуверившись в существовании каких бы то ни было высших сил, — а произошло это, без всякой тени сомнения, под воздействием грандиозных усилий агностической, новоявленной философской мысли, — он разом до конца утратил последний внутренний ограничитель. К тому же он целиком вобрал в себя веру в безусловное торжество «царя природы» над всеми прочими ее неразумными подданными.

И потому в конечном итоге такие, как он, «сверхчеловеки» и превратились в тех самых акул, которые оказались способны — пусть и на мгновение — пожирать собой само солнце.

И ведь всему этому мы, как ни крути, обязаны в том числе и тем самым неимоверно толстым фолиантам по ядерной

физике.

Именно благодаря злоеюще затаившимся в них великим знаниям современная наука в принципе оказалась способна столь «деловито» и «умело» усовершенствовать жизнь, что существовать на этой земле далее вполне так еще возможно смогут разве что самые примитивные бактерии.

Впрочем, это пока еще дело самого вот неопределенного будущего.

И дай Бог, чтобы оно никогда не наступило, развеяв человеческий прах в ядерную пыль.

А откуда-то отсюда и следует тот самый вполне закономерный вывод.

Книги — это не только основа высокого духовного и технического прогресса.

Это еще и яд дикой мудрости, вполне способный разом погубить все живое на этой Земле.

И, по сути своей, почти все, что сегодня происходит в мире, в той или иной степени является следствием влияния самых разных книг.

Порою они и впрямь чрезвычайно давят над сознанием современного мыслящего человека.

Хотя разумеется, не одни лишь только книги вполне формируют светлый образ нашей духовной жизни.

Однако нельзя не учитывать их особое свойство — умение глубокомысленно создавать чрезвычайно удобную среду обитания для тех, кто ради личного уюта предпочел всячески так явно отгородиться от всего огромного и тревожного

мира.

И именно это вызывает особое беспокойство.

Ибо подобная гражданская позиция — отнюдь не лучшая и не самая праведная стезя для людей мыслящих, чувствующих остро и глубоко, ясно осознающих несовершенство мира и, без всякого сомнения, по-своему исключительно благородных.

63

Но вот беда подобные интеллектуалы к нашему времени вполне уж успели начать всячески идеализировать мнимую литературную жизнь, подменяя ею — по мере сил и вкуса — все то неприглядное, простое и до отчаяния житейское прозябание, из которого и состоит реальное человеческое существование.

А между тем все то немислимо разнообразное искусство изначально создавалось никак не для бегства от жизни, но для утончения чувств, для духовного развития и подлинного творческого обогащения человека.

И стало все — это уж полностью ведь на деле возможным именно как раз благодаря самому разноликому и многогранному сочетанию его форм — нередко таких, что вовсе не нуждаются в построчном переводе с языка на язык. Скульптура, архитектура, музыка, живопись, опера, балет, даже фигурное катание — все это говорит с человеком напрямую, минуя словесные ухищрения и идеологические прокладки.

Недаром Иван Ефремов в романе «Час Быка» указывает не только на способность фантазии уводить человека от повседневности, но прежде всего — на ее созидательную,

спасительную силу:

«На Земле очень любили скульптуры и всегда ставили их на открытых и уединенных местах.

Там человек находил опору своей мечте еще в те времена, когда суета ненужных дел и теснота жизни мешали людям подниматься над повседневностью.

Величайшее могущество фантазии!

В голоде, холоде, терроре она создавала образы прекрасных людей...

Все вместе они преодолевали инферно, строя первую ступень подъема...»

Однако ярая фантазия авторов, часто находящихся в самом непримиримом конфликте с серой и бескрылой обыденностью, порой заходит слишком уж далеко.

Вместо живых людей они начинают создавать откровенно вычурные образы, от которых веет искусственностью и до чего навязчивым стремлением передать не человеческий характер, а отвлеченную идею.

Некоторые писатели особенно преуспевают в этом — они творят уже не лики людей, а абстрактные портреты, существующие разве что лишь в виде бесплотного духа.

И коли такие образы вообще ведь хоть как-то же соприкасаются с реальностью, то исключительно как тени, а не как живая, противоречивая, несовершенная плоть.

И разве именно уж для этого и нужно было все то на редкость многогранное и многоцветное искусство?

Разве вот ради такого глянца — изящного, сверкающего, самодовольного — его и нахлобучивают поверх всей этой нашей более чем невзрачно же скучной, однако во всем так

исключительно подлинной жизни?

64

И всем этим они сколь еще наглядно засоряют души своих читателей и почитателей — души зачастую добрые, но при всем том чрезмерно наивные, принимающие все, запечатленное на бумаге, за некую самую окончательную и безупречную истину.

Причем те самые исключительно ярые поклонники некоего «великого таланта» при всем том явно не желают понимать во внимание одно то крайне уж простое обстоятельство: к любой высокой духовности неизбежно примешивается фальшь — пусть мелкая, туповатая, но вполне реальная.

Раз она более чем неизбежно существует именно как самая неотъемлемая часть человеческой природы абсолютно любых духовных гигантов.

Тот же Виктор Гюго, чьими душистыми фразами автор этих строк в своем детстве весьма ведь искренне упивался, — чего это именно он порою предлагает в своей, казалось бы полностью безупречной трилогии «Отверженные»?

«...донести на себя, спасти человека, ставшего жертвой роковой ошибки, вновь принять свое имя, выполнить свой долг и превратиться вновь в каторжника Жана Вальжана — вот это действительно значит завершить свое обновление...

Попад туда физически, он выйдет оттуда морально».

В этих строках доселе живой человек до чего явственно превращается в идеально вычерченный моральный чертеж — в абстрактный образ праведности, не знающий ни голода, ни холода, ни реальной цены такого «выбора».

Сам Виктор Гюго не испытал на себе ни нищеты, ни

каторжной ломки человеческого достоинства — и потому с редкостной легкостью он призывает к той возвышенной жертве, существующей прежде всего в пространстве идеи, а не в плотской, мучительной реальности.

И именно это такое — сладкоречивое подменивание жизни моральной схемой некогда затем и формирует у его ревностных почитателей предельно упрощенное, черно-белое восприятие всего же разнообразия окружающего мира.

Где отныне уж только и есть либо абсолютное добро, либо абсолютное зло.

Где человек обязан полностью так до конца соответствовать идеалу — или быть раз и навсегда отброшенным за черту.

А между тем жизнь, как всегда, куда только намного сложнее любой, даже самой гениальной, литературной формулы.

65

И это собственно здесь и возникает самая прямая необходимость безо всякой беспочвенной деликатности высказать вещь предельно ясную.

А именно — когда любимому автору начинают внимать как голосу с небес, не подвергая его мысли ни малейшему сомнению и критике, тем самым незаметно, но неотвратимо обожествляется сам образ его творческого сознания.

А раз само его дыхание объявлено божественным и непогрешимым, то, следовательно, уже по определению не может он ошибаться ни в частностях, ни в главном — превращаясь в некоего «бога от имени литературы».

И ведь совсем нетрудно догадаться, к чему в конечном итоге

приводят подобного рода, по всей сути своей, фанатические воззрения.

Ничего по-настоящему доброго нельзя ожидать от тех прямоугольных, до предела упрощенных штампов общественного поведения, что выходят из-под пера даже самого гениального автора, если его мысль перестает быть предметом живого сопротивления ума читателя.

Другие формы возвышенного искусства грешат этим в куда меньшей степени.

Хотя и им порой свойственно известное отстранение — от грубой, вязкой, нередко отвратительной повседневности, от всех ее навязчивых и мелочных проявлений.

Но именно литература во многом способствует постепенному вытеснению мира реальности целым сонмом сладких, обволакивающих грез.

Ибо, помимо почти всегда верного ощущения возвышенного парения над серой плотью быта, чтение нередко рождает еще и внутреннюю сумятицу — вследствие чрезмерно чувственного, некритичного восприятия сердцем мыслей как современных авторов, так и признанных классиков далеких эпох.

А там, где чувство начинает подменять рассудок, истина неизбежно уступает место бездумному очарованию.

66

А между тем довольно многие большие и великие писатели — люди вовсе никак совсем уж не однозначные, а потому их творения подчас сколь еще откровенно грешат самой вот половинчатой правдой.

Ну а следовательно их суждения и выводы никак не могут

быть приняты на веру без самого вдумчивого, кропотливого рассмотрения всей их этической сути.

Следовательно, вполне уж необходимо суметь весьма последовательно отделять действительно светлые и цельные идеи от тех темных мыслей, что так и бродят по закоулкам большого ума и души и время от времени вполне отчетливо дают о себе хоть сколько-то знать.

И если читателю действительно удастся весьма зорко разглядеть весь спектр внутренней «радуги» той или иной книги, то вот это как раз тогда и мир после прочитанного разом предстанет, куда менее плоским, менее прямолинейным — и уж точно не столь однозначно простым.

И при всем том, сколь бы радостным ни было то самое изумительно чудное соприкосновение с возвышенными струнами высокой духовности, вовсе не обязательно — да и не всегда ведь оно окажется уместным сколь еще на редкость пристально же приглядываться к частной жизни или политическим взглядам тех или иных гениев.

Так, к примеру, личные обстоятельства Петра Чайковского или Рихарда Вагнера мало что прибавляют к пониманию той божественной музыки, что была рождена их великим воображением.

Музыка — даже там, где она облечена в слово, — почти всегда небесно чиста от быта и страстей жизни, которая у ее создателей далеко не всегда была праведной или политически воздержанной и спокойной.

И в этом самом смысле и те прочие корифеи высокого искусства — такие же люди, как и все мы, а вовсе не греческие боги, снизошедшие к человечеству со сколь

безупречно белоснежных вершин Олимпа.

Возможно, их произведения и впрямь-таки на деле проникают в наш мир из некоего иного, более высокого бытия, однако преломляются они в душах людей, нередко лишенных всей полноты простых и светлых радостей обыденной жизни.

Те самые мелкие, но столь приятные события самого же повседневного человеческого существования для многих гениев были лишь досадным отвлечением от главного — от внутреннего напряженного горения, из которого затем и рождалось их искусство.

Для этих виртуозов ярчайшего творческого созидания серая обыденность сама по себе значила крайне мало; куда важнее был дух всего того нового, искрящегося собственным светом свершения.

При этом они зачастую куда острее воспринимали все неправо, жестокое и лживое, что происходило вокруг или доходило до них в виде слухов и тревожных известий.

Чужая боль резала их слух и зрение, а собственные удары судьбы подчас кромсали сердце до самых мелких осколков.

Не случайно многие истинные мастера таланта терпели голод, лишения и унижение своего дара, а нередко и вполне сознательное, злобное стремление современников под самый корень подрезать им духовные крылья.

67

А между тем нравственные страдания души великих духовных гигантов никак несоизмеримы с мелкими и обыденными переживаниями большинства прочих смертных, после жизни которых на этой земле, как правило, не остается ничего —

кроме кучи грехов и потомства.

Обыватель по своей сути — потребитель: ему не дано родить новое слово или создать красоту из ничего, а потому его взор чаще всего прикован лишь к собственной тарелке, а не к лепнине на стенах домов, даже если судьба позволила ему жить среди этакой роскоши.

Гении же самых разных искусств обитают в собственном, особом мире.

Однако реальная действительность нередко врывается туда грубо и внезапно, являясь тем самым непрошеным гостем, всегда несущим с собой суровые и разнообразные неприятности.

А творческим людям свойственно принимать близко к сердцу не только личные беды, но и страдания окружающих, а нередко — и боль всего общества в целом.

И это далеко не полный перечень их внутренних мук.

Главное же состоит в том, что подобные души почти всегда находятся под ударом раз явно так еще отыщутся те, кто с весьма большой охотой и знанием дела всегда вот сумеет задеть их до самой глубины их сердец.

К тому же гениев нередко попросту не понимают — и, что хуже, совсем не воспринимают всерьез.

А порой случается и нечто более низкое: творцов великого искусства мелкие, приземленные людишки до чего открыто высмеивают или, не спрашивая ни согласия, ни понимания, используют их слабости в своих грязных политических и идеологических играх.

И именно тогда боль, рожденная из чужого дара, вполне ведь и становится оружием в руках тех, кто сам никогда ничего

не созидал.

68

И сколь нередко именно вследствие жизненно необходимой для творческих людей потребности в том самом хмельном забытье им с самой той еще поразительной легкостью разом внушаются самые всевозможные националистически-бредовые идеи, более чем верно ложащиеся на сколь давно и заботливо взрыхленную почву внутренней неустойчивости. Впрочем, это лишь одна — и отнюдь не главная — из множества разветвленных троп зла, столь усердно оплетающих духовно развитые натуры, и впрямь наделенные мощным и подчас сколь опасно же полноценным даром самовыражения.

И здесь разом необходимо еще и еще безо всяких экивоков до чего строго так подчеркнуть одну только вещь: из всех существующих ныне видов искусства именно художественная литература в самой наибольшей степени подвержена самым разнообразным внешним влияниям и идейным течениям этой сложной, нередко сколь безумно беспощадной культурной жизни.

Однако тем не менее довольно многие, считай, уж чисто по-прежнему склонны разом ведь полагать, будто эта профессиональная культурно-просветительская сфера до чего неразрывно связана исключительно с «высокими материями», а сами авторы якобы обитают в некоем вовсе оторванном от земли царстве муз, словно существа почти неземные.

Но действительность, разумеется, на самом уж деле сколь

еще далека от всякой подобной идиллии.

И именно как раз об этом с редкой трезвостью пишет Уильям Сомерсет Моэм в книге «Подводя итоги»:

«Мы огорчаемся, обнаружив, что великие люди были слабы и мелочны, нечестны или себялюбивы, развратны, тщеславны или невоздержаны; и многие считают непозволительным открывать публике глаза на недостатки ее кумиров. Я не вижу особой разницы между людьми. Все они — смесь великого и мелкого, добродетелей и пороков, благородства и низости. У иных большие силы характера или большие возможностей, поэтому они могут дать больше воли тем или иным своим инстинктам, но потенциально все одинаковы. Сам я не считаю себя ни лучше, ни хуже большинства людей, но знаю, что, расскажи я обо всех поступках, какие совершил в жизни, и о всех мыслях, какие рождались у меня в мозгу, меня сочли бы чудовищем».

69

И именно — это и есть та самая сколь доподлинная, ничем и близко никак не приукрашенная правда.

А все те восторженные измышления о неких нимбах, еще изначально якобы ведь окружающих головы великих, — всего-то лишь разве что видоизмененная форма весьма так старого идеалистического культа святых мощей, которые без воплощенной в них идеи представляют собой не более чем чьи-то давно истлевшие кости.

Однако если вполне же всерьез заговорить не о тех чисто внешних и материальных проявлениях духовности, а о ее самой доподлинной, глубинной сути, то вот никак нельзя не признать: люди действительно возвышенного склада нередко

обладают тем, к чему никак невозможно прикоснуться руками, а одним лишь чистым и внимательным сердцем. Но для великого множества обывателей подобное прикосновение разом оказывается слишком так явно до чего весьма трудным.

И именно потому они явно предпочитают касаться чужого величия не руками, а ногами — попирая его, принижая и унижая.

Ведь так оно становится разом на ранг их ниже, безопаснее и понятнее, а значит — и дышать рядом с ним сделается куда только полегче и весьма вольготнее.

Впрочем, даже и без столь откровенных проявлений дикой человеческой нетерпимости до чего многие по-настоящему достойные деятели искусства подчас вот натирают себе кровавые мозоли на пятках души.

И боль эта — особенно острая, такая, какую вряд ли способен вынести кто-либо иной кроме них.

Но и здесь необходимо сделать самое принципиальное уточнение: речь идет исключительно о тех, кто не продался грязной тоталитарной власти и не ступил на низкий путь самого беспринципного подслащивания действительности — ради удобства, выгоды или сугубо мнимого общественного одобрения.

70

Именно талантливым людям почти неизменно бывает тяжело на душе — из-за многого такого, чего для подавляющего большинства попросту не существует в их извечно обыденной повседневной реальности.

Нет у бесчисленного множества рядовых смертных тех

мучительных, изнуряющих забот, что способны годами разъедать душу изнутри.

Политики тем временем беспрестанно и совершенно бессовестно играют в интриги, а простые обыватели апатично тянут привычную для себя лямку — ради собственного, вполне земного и до крайности приземленного благополучия.

Разумеется, речь здесь идет лишь об абсолютном большинстве, а не о каждом человеке, живущем на этом свете.

Но даже среди тех, кто искренне интересуется общественной жизнью, лишь ничтожное меньшинство действительно «харкает кровью» из-за всеобщего будущего благоденствия.

А вот у подлинных литературных гениев все обстоит иначе. Именно им, как правило, не давало покоя все то, что происходило неправо — в их собственной стране и далеко за ее пределами.

Их совесть не знала передышки, их душа не умела отводить взгляд, а боль за чужую судьбу становилась для них личной и неотъемлемой частью внутреннего бытия.

И, быть может, именно поэтому настоящая литература столь редко бывает утешительной — и столь часто оказывается единственно честной.

71

А впрочем, далее речь пойдет именно о российских писателях то есть о тех самых великих деятелях эпистолярного жанра, чей поистине безграничный вклад в мировую литературу вполне так и стал самым безупречным достоянием всего

мыслящего человечества.

И все же их весьма значительная роль в истории формирования самосознания российской интеллигенции оказалась не только многогранной, но и глубоко трагической — притом трагической в самой наивысшей степени весьма неоднозначно.

Великих русских писателей явно тяготила повседневная окружающая их невзрачная действительность, и потому каждый из них по-своему, порой с той еще на редкость пылкой и яростной самоотдачей, явно ведь пытался всячески растаскивать бревна того самого немыслимо же стародавнего имперского острога, в котором и доселе будто бы столь откровенно томилась их до того замшило отсталая страна.

Им может и вправду привиделось — и во сне, и наяву — зримое преображение ветхого быта в нечто вовсе иное, новое, уже никак не праздное и не унижительное.

Однако смотрели они на мир чаще всего взглядом крайне ироническим, а подчас и обезличенно-циничным.

А между тем, быть может, явно уж еще следовало им куда полнее и сердечнее сочувствовать самому вот простому народу — а не тем призрачным идеалам, которые к его извечному страданию были разве что совсем ведь умозрительно, наспех и столь нередко более чем глумливо притерты.

И все же никак нельзя забывать и другого: сами они были плоть от плоти своего ревизионистского XIX века — века, в котором почти все, без остатка, оказалось втянуто в воронку до чего устойчивого и всепроникающего сомнения,

нередко переходящего в нравственную дерзость, а подчас и в откровенное богоборчество.

72

И при всем том разом уж следует весьма ведь безапелляционно отметить: все общеевропейские веяния в прежней царской России явно утрировались до степени почти баснословной — вполне естественно доходя порою до самого безысходного комизма.

Однако из всего этого вовсе не следует, будто гении русской литературы — к тому же признанные классики мирового масштаба — не знали своего народа.

Знали, безусловно знали.

Но знание это нередко носило характер глубоко умозрительный.

При всей точности наблюдений внешнего поведения внутренняя суть народной жизни от них зачастую явно так ускользнула.

Едва ли не единственным по-настоящему редким исключением здесь может считаться доктор Чехов — и отчасти Достоевский, хотя в его до самой крайности расхристанных описаниях русского общества почти неизменно присутствует чрезмерно углубленное, порой саморазрушительное самокопание.

При этом у величайших писателей XIX века, несомненно, была та сила — духовная, интеллектуальная, художественная, — которая чисто теоретически и вправду могла со временем действительно изменить довольно-таки весьма вот многое.

Но разве нельзя допустить, что и они до чего грубо во многом

ошибались?

Что пребывали в хаосе разнужданных чувств, находились во власти собственных непримиримых противоречий?

Ибо они были ровно такими же людьми из плоти и крови, как и все прочие, — со всеми неизбежными человеческими слабостями и достоинствами.

И если их необычайное усердие совсем не пропало даром — этому, разумеется, не столь уж и следует действительно радоваться.

Раз сам тот вопрос так и остается открытым и отнюдь не праздным: принесло ли все это более-менее однозначную и безусловную пользу?

Автор, впрочем, вполне убежден, что польза — без сомнения — была, и, возможно, до чего только весьма же значительная.

Однако и вред от надуманных, праздных, бесцельно восторженных идей, весьма вот наспех внедренных в чудовищно сложную социальную ткань, со временем также оказался более чем весьма ощутим.

Правда вот все же никак нельзя не признать: классики русской литературы, что были вовсе не косноязычны в великом русском языке, а это прежде всего Чехов и Достоевский, действительно дали миру чрезвычайно многое из подлинно глубокого, вдумчивого и безусловно ценного.

73

У потомственных дворян Толстого и Тургенева, в сущности, никогда не возникало ни малейших вполне так существенных проблем с великим и могучим русским языком.

И все же до самого конца они вряд ли, что столь еще

откровенно сумели именно так на нем более или менее полно выразить все многообразие своих чувств да и вполне раскрыть глубочайшую полноту собственных мыслей — особенно если рассматривать их творчество во всей его протяженности и внутренней сколь явной неоднородности. «Отцы и дети» Тургенева, «Анна Каренина» Льва Толстого — это, безусловно, моменты подлинного просветления, посетившие души классиков.

Но в целом русский язык оставался для них все же в некотором смысле несколько чужеродным, а потому и не до конца прочувствованно эластичным в их речи.

В сугубо семейном кругу они по большей части говорили по-французски и лишь изредка, между делом, по-русски.

Однако даже такие писатели, как Достоевский и Чехов, хотя и являлись подлинно полноценными носителями русского языка, все-таки не избежали некоего иного рода явного искажения.

Чрезмерная, почти навязчивая перенасыщенность их великих умов общеевропейской культурой внесла в их литературный труд до чего так изрядную толику проникновенно-елейного и надменно утонченного, безапелляционного нигилизма.

И со временем этот яд весьма быстро пропитал сознание их поистине многомиллионной читающей публики.

И речь здесь идет вовсе не о духовном восприятии окружающей действительности как таковой, а прежде всего о том удивительно простом логическом анализе, на котором, собственно, и зиждились все их оргвыводы — выводы, сделанные по поводу всего того увиденного ими наяву, а не в

том несравненно распрекрасном и блаженном сне.

74

А кроме всего прочего, — и это следует сказать вполне прямо, — болезни классиков русской литературы, равно как и их до чего только тяжёлый личный жизненный опыт, весьма неизбежно сказывались и на духовном здоровье их и без того сколь еще долгими столетиями угнетенной нации.

Так, тот же Чехов, одиннадцать лет промаявшись с той до безумия тяжелой хворью — туберкулезом, — в самом своем изначальном душевном смысле, по сути, полностью умер.

Ушел в небытие тот прежний Чехов — и на его месте возник Чехов иной: злой, желчный, неумный, и впрямь уж самый неумный буревестник грядущей революционной бури.

Скучно ему стало жить на Руси.

Впереди мрачно и безысходно маячил конец — и вовсе не от дряхлой старости.

И даже в своем поистине великом, до сих самых пор никем не превзойденном по тонкости и красоте рассказе «Дама с собачкой» он явно допустил то, что трудно назвать иначе как более чем беспутным попустительством ко всякой социальной грязи, весьма вот страшной занозой затем уж вошедшей в сознание всего его поколения.

Именно это — не напрямую, но исподволь как раз и стало одним из тех весьма отягощающих факторов, что явно легли в основание формирования хищного образа чисто советского грядущего: столетия смуты, тьмы и ослепительно «светлых» идей, которое сперва лишь до чего еще смутно маячило вдали, а затем вот разом накрыло всю

же страну с головой.

И главное в том, что некогда затем произошло, есть и доля вины гения Чехова.

Это ведь как раз-таки плоды его культурного наследия Россия и пожинала на протяжении всех тех семидесяти четырех лет.

Достаточно вот вспомнить строки из «Дамы с собачкой»:
«А давеча вы были правы: осетрина-то с душком! Эти слова, такие обычные, почему-то вдруг возмутили Гурова, показались ему унижительными, нечистыми.

Какие дикие нравы, какие лица!

Что за бестолковые ночи, какие неинтересные, незаметные дни! Неистовая игра в карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры все об одном.

Ненужные дела и разговоры все об одном охватывают на свою долю лучшую часть времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти и бежать нельзя, точно сидишь в сумасшедшем доме или в арестантских ротах».

75

Да и Федор Михайлович Достоевский жил жизнью отнюдь никак не веселой — со всеми его и впрямь до чего бесконечными эпилептическими припадками, тяжелым нервным надломом и постоянным пребыванием на грани внутренней катастрофы.

А именно потому и не мог он действительно видеть тот столь плотно окружающий его мир во всех тех по-настоящему уравновешенных, трезвых и до конца же

естественных для человеческого разума рамках.

Вот как сам Достоевский — писатель, но прежде всего человек, прекрасно знавший предмет изнутри, — описывает состояние после эпилептического припадка.

А между тем подобные состояния были ему вполне знакомы никак не понаслышке на протяжении почти всего его и без того крайне нелегкого творческого пути.

«Униженные и оскорбленные»:

«Очнувшись от припадка, она, вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное...»

Мы ныне вот никак не знаем — и уже никогда не узнаем, — что именно могло вообразиться той бедной девушке: сроки сдачи романа, как водится, поджимали, и автор не стал задерживаться на всех тех излишне мелких подробностях.

Зато самому Достоевскому, по всей на то видимости, вообразилось нечто куда только большее.

Ему с самой так поразительной ясностью на деле привиделись те самые, якобы как есть бессмертно верные принципы захвата и удержания российского общества в рамках чудовищной диктатуры.

Причем уж такой, какой прежде явно вот никогда ранее и не знала ни одна эпоха и ни один тот или иной доселе большой или малый народ.

И главное как раз все эти видения, рожденные на стыке боли, надрыва и гениального дара, и были затем уж приняты читателем не как симптом, а как откровение — не как

предупреждение, а как самое верное пророчество.

76

И, по сути, именно так оно впоследствии и вышло — под властью тех, кто бездумно оседлал светлые мечты о всеобщем благе, оказавшись при этом вовсе не мифическими, а до самой же крайности кровожадными вампирами вездесущего большевизма.

Эти самопровозглашенные народными трибунами до чего только всесильные гробокопатели более всего жаждали не созидания, а беспрестанного пролития человеческой крови — и столь же безудержного ничегонеделания на головокружительной вершине собственной идейной «безгрешности».

Они и в самых сладостных своих грезах не намеревались создавать народу условия для хоть сколько-нибудь действительно лучшей жизни.

Зато, разогревая себя и других пустыми обещаниями, они с почти религиозным рвением так и рассыпали повсюду посулы — мол, из сущего ничто будет вот-вот создана некая и впрямь несказанно светлая действительность.

Достоевский, по существу, выстроил именно те еще художественные декорации.

А всем прочим оставалось лишь до чего еще неспешно выйти на сцену — и вполне разыграть грандиозный спектакль под броским названием «построение коммунизма» в стране, заранее и надолго же обреченной на самые величайшие муки.

И вот всему тому — поразительно точное и до боли выпуклое — свидетельство из его достославных «Бесов»:

«На первый план выступали Петр Степанович, тайное

общество, организация, сеть.

На вопрос: для чего было сделано столько убийств, скандалов и мерзостей? — он с горячей торопливостью ответил, что «для систематического потрясения основ, для систематического разложения общества и всех начал; для того, чтобы всех обескуражить и из всего сделать кашу, и расшатавшееся таким образом общество, болезненное и раскисшее, циничское и неверующее, но с бесконечною жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения — вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые места, за которые можно ухватиться»».

77

Один, как известно, в поле не воин.

Но кто это вообще сказал, будто в те — не столь уж и давние — времена Федор Михайлович Достоевский находился в этом поле в самом полном одиночестве?

Несколько позднее к нему, по-своему никак не менее разрушительно, примкнул другой классик — Антон Павлович Чехов.

Медленно отхаркивая кровью собственные легкие, он, по сути вполне так, утратил веру в Бога — и вместе с ней всякое доверие ко всем тем прежним прочным опорам всего же человеческого существования.

И именно тогда он и принялся сколь еще настойчиво и бесцеремонно разом уж весьма вот навязчиво рассуждать о некоем всеобщем, «полезном» труде, который якобы и должен был вывести человечество на единственно верный и

безусловно правильный путь.

Человеку, еще недавно вполне здоровому, внезапно же понадобилась осязательная помощь окружающих.

И Чехов — с весьма характерной для него внутренней резкостью — эту необходимость откровенно возненавидел.

Но при чем здесь все население его страны — а заодно и все так называемое «прогрессивное человечество»?

Его ум, отравленный расхолаживающим воздействием туберкулеза, безусловно, не утратил способности к точному и мощному художественному мышлению.

Однако позднее творчество Чехова оказалось уже совершенно иным по своему внутреннему знаку.

Это было никак не продолжение прежнего светлого, теплого и ироничного взгляда на жизнь, а нечто качественно иное — столь же незаурядное, но при этом отчаянно заунывное.

Да, в этих произведениях по-прежнему тлела искра гениальности.

Но тлела она уже в холоде — и действовала на читателя не согревающе, а охлаждающе, выматывающе, подтачивающе.

Психика читателя той эпохи подвергалась мощной и непрерывной атаке чеховского нигилизма — негромкого, лишнего пафоса, но оттого особенно разъедающего и опасного.

78

И именно Антон Павлович Чехов, всем так посредством своих сколь еще поразительно талантливых пьес, фактически создал то самое устойчивое психологическое давление на безнадежно хрупкую и болезненно ранимую душу русского

человека.

Причем сделал он это не лозунгом и не прямым призывом, а куда поболее опасным способом — через тихое, настойчивое внедрение определенного мироощущения.

Вот один из наиболее наглядных примеров его поздних, по существу уже откровенно просоциалистических интонаций.

«Три сестры»:

«Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги...

Лучшие быть волом, лучшие быть простою лошадыю, только бы работать...

В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать».

На первый взгляд — все здесь звучит почти безупречно.

Житейски, здраво, даже нравственно неоспоримо.

И, возможно, так оно и было бы — если бы не все то, что вскоре последовало.

Далее тот же мотив развивается уже без всякой маскировки:

«Меня оберегали от труда.

Только едва ли удалось обречь, едва ли!

Пришло время, надвигается на всех нас громада...

Я буду работать, а через какие-нибудь 25—30 лет работать будет уже каждый человек.

Каждый!»

И вот здесь заканчивается художественная метафора — и начинается опасное пророчество.

Потому что «тоска по труду», поданная как высшая форма

духовного очищения, легко превращается в нравственное оправдание лютых принуждений.

В идею, где труд — уже не свободный выбор и не человеческое достоинство, а обязательный универсальный долг, от которого нельзя уклониться никому.

Чехов, безусловно, не призывал к насилию.

Но его слово — тихое, авторитетное, гениально внушающее — подготавливало почву для той самой логики, где «каждый будет работать» означает не внутреннюю потребность, а внешнее требование.

Именно в таком виде эта мысль позже и была подхвачена — уже безо всякой чеховской деликатности, но с предельной прямолинейностью и жестокостью.

Таким образом, поздний Чехов стал не возждем и не идеологом, но психологическим предтечей: он сделал мысль о всеобщем труде не только допустимой, но и морально желанной — задолго до того, как ее превратили в кнут и лагерную норму.

79

И главное, чем только Советская власть уж точно никого не обделила, так это тем еще попросту необъятным объемом самого неэффективного принудительного труда.

Причем труда такого масштаба и такой бессмысленной тяжести, что его не осилили бы и десять волов — не то что один отдельно взятый человек.

И вот одним из наиболее наглядных и по-настоящему жутких образцов подобного «преображения новых реалий революционного века» как раз и стала добыча золота в условиях вечной мерзлоты — практика, откровенно

недостойная уже вполне во всем техногенного XX века.

Советская система этой добычи общеизвестна: тысячи и тысячи заключенных по восемнадцать часов в сутки, с мотыгами и ломami, ковыряли промерзший грунт, твердый и крепкий, как железобетон.

А между тем существовало вполне очевидное и технически элементарное решение.

Целые пласты вековой мерзлоты можно было поднимать с помощью нескольких десятков килограммов грамотно заложенного динамита — строго по расчету, по науке, с теми разве что только предварительно сделанными лунками, с минимальным риском и несравнимо меньшими затратами человеческих сил.

Но этого почти никогда не делали.

Вместо этого — пара тысяч политических заключенных, с жалким перерывом на сон, месяцами надрывались над тем, что при разумной организации труда могли бы за каких-то восемь дней неспешно выполнить пятеро сытых, здоровых рабочих под руководством одного грамотного инженера.

И что особенно показательно: среди этих самых «политических» всегда уж находилось немало инженеров, техников и специалистов — людей, способных на деле облегчить общий труд, сделать его куда только безопаснее и заоднократно повысить всю его эффективность.

Но все их знания и опыт в расчет у новых пролетарских поработителей страны вовсе так принципиально попросту никак не принимались.

Для большевистской власти важен был не результат — важен был сам процесс должного изнурения всех ее заклятых

врагов, дабы никто из них впредь и не помыслил поднять голову в знак хоть сколько-нибудь существенного протеста. Да и сам труд рассматривался не как средство преобразования мира, а как форма наказания, как инструмент подавления, как способ самого старательного перемалывания всей человеческой личности.

Светлые головы системе, сколь тщательно выстроенной на подозрительности, страхе и крайне мстительной за буквально всякое проявление разума уравниловке, были вообще совсем попросту не нужны.

Инженер, что не был слепо покорен идее был для нее гораздо опаснее любого отпетого уголовника — потому что он думает, а не только соображает, где бы чего только себе вот чужое присвоить.

То есть любые политические поползновения отныне приравнивались к тому самому тщательно продуманному убийству.

Так идеология «освобождающего труда», выросшая из мечтаний и литературных метафор, на практике обернулась фабрикой бессмысленного истощения, где человека сознательно превращали в одноразовый инструмент — без учета разума, достоинства и даже самой бросовой цены всякой той или иной человеческой жизни.

80

Нам вполне уж наглядно показали в «Списке Шиндлера», как нацист убивает еврейку-инженера.

Да только вот в чем по-настоящему до чего еще каверзный вопрос: когда — и где — нам столь же откровенно покажут, как сытый, сколь самодовольно упивающийся всем своим

полновластием большевик насилует русскую балерину или убивает инженера, осмелившегося умничать и говорить о вполне реальной, как пить дать, еще возможности обвала в шахте?

И тот суицид невежда, слушая эти произносимые почти шепотом, через силу, по-настоящему молящие о понимании слова, мог с поразительной легкостью отреагировать примерно так:

— «Люди, говоришь, погибли?»

Да только так ведь оно будет во всем лишь улучшение.

На несколько врагов народа разом уж меньше на свете станет.

А ты, подлая каркающая тварь, прямо сейчас, не сходя с этого места,

у меня вот загнешься».

И происходило — это именно потому, что всей своей мелкой душонкой этот вертухай был лютым врагом разуму как таковому.

А впрочем он и был призван на службу вовсе никак не ради порядка, а исключительно затем, дабы совершенно ведь инстинктивно подавлять абсолютно любое нерадивое умничанье.

И в этом смысле та самая тараканья рать явно вот окрепла совсем не на пустом месте — ей помогли и идеи, и образы, как и та до чего только долгая привычка презирать всякую мысль как самое явное излишество.

И это в том числе — и благодаря пьесам Чехова она и обрела свою полную, во всем до конца уверенную силу.

А если кто в конечном уж итоге и стал настоящей ломовой

лошадью в лапах данной совершенно бесчеловечной системы, то это вот был именно тот простой, работающий человек. Лентяи же никуда не делись — напротив, их стало даже больше, ибо паразитизм впервые был возведен в ранг почти что идейной добродетели.

81

И само собой разумеется, все это сводилось вовсе не к одним лишь — пусть и впрямь-таки чересчур разбитным — пьесам гениального Чехова.

Та эпоха и без того была перенасыщена иными, не менее первостепенными и по-настоящему многое определяющими факторами, яростно формировавшими те самые «новые», радикально-либеральные реалии своего времени.

И, возможно, одного лишь творчества титанов русской литературы действительно оказалось бы никак еще недостаточно, чтобы впоследствии стало реальностью этакое почти бесстыдное право — бестрепетно обрушить лавину интернациональной дикости на головы всей той бесталанной и безответственной когорты власть предержащих.

Однако при всем том так и остается само собой истинным, то от чего уж никак невозможно будет явно так совсем отвернуться.

Все те трое классиков общемировой литературы — почти безо всякой тени сомнения — оказались тем самым духовным заслоном, который, сам того не желая, явно помешал появлению на свет неких иных, возможно не менее — а то и более — крупных и подлинно новых гениев уже грядущего XX

века.

И это — не обвинение.

Но и не оправдание.

Социальное зло, даже в самых благих своих намерениях, всегда оказывается безнадежно же далеко от всякого — даже чисто житейского — разума.

Люди прошлого не имели ни малейшей возможности заглянуть в то самое до чего еще отчаянно несветлое будущее, которое им предстояло еще всею душой породить.

Но это незнание никакое не оправдание.

Сюрреалистическая картина всеобщего, во всей своей серой обыденности принципиально ведь никак неосуществимого счастья стала весьма удобной ширмой, за которой оказалось слишком вот уж легко скрыть черноту ночи безвременного несчастья и безраздельного торжества чванливой серости.

И это как раз таков и оказался трагический итог той эпохи — эпохи, в которой гении заговорили слишком громко, а подлинно светлое будущее так и не успело сказать своего окончательного слова.

82

И вот именно те люди — чьи имена в большинстве своем так и остались полностью безвестными — были попросту напрочь стерты с лица земли чудовищно осатанелым большевизмом.

А между тем данное до чего сплоченное племя пламенных демагогов, возможно, и не получило бы власть в свои едва ли мозолистые руки

без Достоевского, Чехова, Льва Толстого и того самого, никак

неотделимого от них Горького.

Именно эти жалкие, до конца полностью же ослепленные идеей ленинцы попросту вот вполне опоили свой народ гиблым зельем неописуемой лютости,

а потому тот и загорелся самым неистовым энтузиазмом в бесславной погоне за абсолютно несбыточными мечтами.

А ведь эти мечты были в принципе никак неосуществимы без самой коренной, глубинной перестройки всех психологических установок, вполне ежедневно определяющих мысли и чувства среднего обывателя.

Причем даже теоретически подобная трансформация могла бы быть возможна

лишь в течение долгой, медленной, почти незаметной смены поколений —

а не в ходе совсем безумного и внеисторического рывка.

Более того, для хоть какого-то весьма же существенного шанса на подлинный успех действовать уж на деле следовало бы более чем взвешенно, рассудительно, поэтапно — а не нестись галопом в сущую суровую неизвестность, сея безумный хаос вместо того сколь еще наспех и пафосно кем-то более чем пространно так более чем безапелляционно наобещанного всеобщего благоденствия.

Но раз все уж сразу понадобилось сделать считай аврально, то без потоки лжи, кровавых интриг и откровенного насилия тут обойтись было именно уж вовсе никак невозможно.

И кое-кто, сколь еще безусловно, теоретически до чего безупречно же выверил постулаты той самой «грядущей жизни», в которой партией должны были быть сколь еще

восторженно и ласково разом обняты серые массы.

Да только вся эта жизнь с самого начала оказалась построена совсем не на разуме, не на человеке, и даже не на труде, а на насилии, спешке и самом вот смертельном презрении к самой ужас как она только есть человеческой природе.

83

Причем тем самым, попросту уж совсем немыслимо рьяным и действенным учителем таких политических смутьянов вполне еще возможно было стать в том числе и полностью до конца осознавая самое прямое и беспощадное противопоставление всех их никчемных идей — самой жизни. А между тем достаточно было никак не заигрывать с их миражами — мечтами, а трезво и громко предупреждать общество о реальной опасности их отчаянно слащавого мировоззрения, показывая его не как «поэзию будущего», а как сущую технологию всеобщего разрушения.

И вот чего еще по данному поводу приводит в виде самой верной исторической справки историк Радзинский в книге «Господи... спаси и умири Россию. Николай II: жизнь и смерть».

Из письма Л. Шмидт (Владивосток):

«В журнале «30 дней» (№1, 1934 год) Бонч-Бруевич вспоминает слова молодого Ленина, который восторгался удачным ответом революционера Нечаева — главного героя «Бесов» Достоевского.

На вопрос: «Кого надо уничтожить из царствующего дома?» Нечаев дал точный ответ: «Всю Большую Ектению» (молитва за царствующий дом с перечислением

всех его членов. — Авт.).

«Да, весь дом Романовых, ведь это же просто до гениальности!» — восторгался Нечаевым Ленин.

«Титан революции», «один из пламенных революционеров» — называл его Ильич».

И здесь уже явно не требуется ни толкований, ни художественных домыслов.

Перед нами — не литературная метафора, не «ошибка времени», не трагическое недоразумение.

Перед нами — прямая, восторженная, интеллектуально оформленная апология сущего уничтожения всего того, что было доселе окружено ореолом величайшего величия.

И именно в этот момент литературный образ перестает быть предупреждением и окончательно превращается в методическое пособие.

Причем это вовсе никак не важно достойна ли была царская семья какого-либо возвышения над всем окружающим, поскольку снос всего того доселе бывшего точно так никак не возвышает, а наоборот возвращает действительность ко всему тому отчаянно далекому прошлому.

84

Как уже о том было сказано выше, трудно будет переоценить выведенную Достоевским формулу грядущего правления Россией.

Этот великий писатель с поразительной точностью предвосхитил саму логику той власти, к которой и будут идти утопая при этом в крови и грязи все те его лишь разве что последующие верные ученики — поработители.

Правда вот вероятнее всего, Достоевский и впрямь-таки

хотел вполне искренне предупредить общество о той развѣ что только надвигающейся опасности — медленной, тяжелой, и сколь безумно неотвратимой.

Но при всем том он сам явно оказался одержим тем самым бесом, которого он столь непримиримо так и стремился же разоблачить.

И как раз потому роман о бесах и был вот написан по правилам самих бесов.

У всякого того, кто с воинственным жаром столь откровенно возвѣщает людям о той развѣ что только грядущей катастрофе, есть мандат — и от Бога, и от сатаны.

Да и личность такого пророка более чем неизбежно накладывает глубокий и самый неизгладимый отпечаток на все его пророчества.

Достоевский тот до чего беспрестанно воевал с тѣнями и в этой войне он непрерывно менял роли: то он был Фаустом, то — Мефистофелем.

Ну а пророком света он вполне мог бы на деле стать — но не захотел.

Слишком рано и слишком глубоко он увлекся всякими богоборческими идеями.

И именно в них — не наспех, и совсем не случайно и был заложен корень того социального зла, которое вовсе не уничтожается разрушением всей той нынѣ существующей системы.

Та система, даже вот будучи полностью сокрушенной, до чего неизбежно собирается заново — винтик к винтику,

шестерня к шестерне.

Меняется одна лишь форма: вместо порядка возникает анархия, слепленная из случайных обломков, но более чем надежно удерживаемая страхом.

Чтобы такое образование тут же разом так не рассыпалось, его явно приходится беспрестанно пронизывать невидимыми нитями ужаса — за малейшееслушание, за мысль, за сомнение.

И Сталин действительно оказался великим мастером этакого вовсе вот бесславного ремесла.

Но он был все-таки более чем неизбежно смертен.

А вот сама та никак незамысловато чужунная власть, столь еще откровенно обретающая идеологическое бессмертие, была вполне подготовлена заранее — словом, мыслью, и даже эмоцией.

85

И то был не кто-то иной, а как раз-таки Федор Достоевский, человек до чего безудержно но — увы — безрассудно так и рвавшийся в бой с нечистой силой, одновременно провозглашая именно ее лозунги и полусознательно размахивая чисто вот ее стягами.

Да он действовал подобным образом в состоянии духовного экстаза, столь откровенно пребывая в мире всяких дремотных надежд и весьма трагически ошибочной веры в свою собственную способность вполне действительно управлять всем тем выпущенным им наружу злом.

И он вполне искренне хотел разом низвергнуть всю ту жуткую нечисть обратно же в ад то есть одним росчерком пера полностью устранить ту самую бесовищину, что столь

неожиданно вышла на самую поверхность новейшей истории. Да только сделал он это языком, который и впрямь оказался весьма убедительнее любых проповедей.

Историк Эдвард Радзинский в книге Александр II — жизнь, любовь, смерть пишет об этом с самой пугающей точностью:

«И потому Достоевский взял эпиграфом к роману евангельскую притчу о бесах, по велению Иисуса покинувших человека и вселившихся в свиней.

И Достоевский пишет в письме к поэту Майкову, бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых Серно-Соловьевичей и прочее, те потонули или потонут, наверное, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисуса, так и должно было быть, но так не будет. Ошибся великий пророк. В дальнейшем все случится с точностью до наоборот, как он предсказал в романе, но не в эпиграфе.

Вся будущая история будущего революционного движения будет прорастать Нечаевщиной, ибо Нечаев оставил главное наследство.

И вскоре нечаевщина начнет завоевывать русскую молодежь. Пройдет всего несколько лет, и негодовавшие читатели бесов увидят воочию русский террор, рожденный чистейшим сердцем. Бесу Нечаеву будет принадлежать грядущий двадцатый век в России, и победа большевизма станет его победой. В большевистской России люди с ужасом будут читать «Бесов», и монолог Петра Верховенского, то бишь Нечаева, об обществе, которое он создаст после революции. «Каждый член общества смотрит один за другим и обязан

доносить... Все рабы и в рабстве равны... первым делом понижается уровень образования, наук и талантов.

Высокий уровень науки, талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей... Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами... их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями...»

И призыв главного теоретика большевиков Бухарина об организованном понижении культуры... и высылка знаменитых философов... и равенство в рабстве... и всеобщие доносы... все случилось. Большевики усердно претворяли в жизнь роман Достоевского. И в советской России в 1920-х годах рождается анекдот.

Большевики поставили памятник Достоевскому, и на пьедестале кто-то написал «Федору Достоевскому от благодарных бесов»».

86

И ведь буквально всему, между прочим, можно еще без особого труда разом так окажется совсем легко отыскать вполне так зримые истоки в том самом на долгие века бессмертном романе.

Вот лишь еще один, почти уж совсем нарочито простой и потому особенно показательный пример.

«Бесы», Федор Достоевский:

« — Я говорил шепотом и в углу, ему на ухо; как могли вы узнать? — сообразил вдруг Толкаченко.

— Я там сидел под столом. Не беспокойтесь, господа, я все

ваши шаги знаю.

Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин?

А я знаю, например, что вы четвертого дня инициали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать.

Липутин разинул рот и побледнел.

(Потом стало известно, что он о «подвиге» Липутина узнал от Агафьи, липутинской служанки, которой с самого начала платил деньги за шпионство...)

И вот тут уж никак невозможно будет не узнать до боли знакомый образ: всевидящее око, всеслышащее ухо и чуткий нюх — тот самый триединый символ тотального надзора, который спустя полвека обретет институциональную форму и гордое название комитета государственной безопасности.

То есть слишком уж все это напоминает всезнающий аппарат негласного контроля, который несколько позднее станет визитной карточкой советской власти.

И поневоле при этом возникает вопрос действительно ли загодя вычитали большевики у гениального писателя все те главные основы будущего тотального надзора, еще до того, как сумели воплотить его в железе тюремных засовов решеток, бесчисленных бумагах и всеобщем людском страхе? Да и вообще — почему, собственно, им вот было никак не быть благодарными Федору Михайловичу Достоевскому, когда именно он с пугающей точностью и художественной убедительностью вполне сформулировал и обосновал ключевые принципы их бесовского правления?

И он дал им никак не лозунги — он дал им вполне жизнеспособную модель управления государством всеобщего

страха и террора.

Причем даже не столь уж четкие инструкции — но образ мышления, в котором донос естественен, страх рационален, а сам человек — лишь мелкий расходный материал для должного осуществления «высшей идеи».

И потому должная благодарность «бесов» оказалась никак не насмешкой, а самой так верной исторической констатацией более чем вполне безупречного факта.

87

То есть большевикам, по всей сути, оставалось лишь разве что то одно: неспешно отбросить все откровенно абсурдное и нежизнеспособное — и вполне воспользоваться тем, что уже лежало перед ними, аккуратно разложенное, словно вот на блюдечке.

И разумеется, что непременно найдется кто-нибудь, кто явно так и заявит.

А именно, что, мол, не будь тех до чего страшных катаклизмов, временно изменивших лицо всего этого мира, да и вообще не будь ведь той многострадальной цепи трагических совпадений и российская история могла бы пойти по совершенно иному, куда поболее благополучному руслу.

Что — это де сами обстоятельства сколь еще нелепо сложились, что это злодейка судьба сыграла дурную шутку. Ну а при том чуть вот ином стечении условий все еще могло бы пойти «как по маслу».

И все — это звучит довольно-таки убедительно — но лишь при том самом первом, поверхностном взгляде.

Недаром тот самый гениальный стратег Наполеон приводит

в своих воспоминаниях одну ту весьма вот краткую и предельно емкую восточную поговорку, услышанную им в Египте:

«Во времена великих потрясений сильного зарежут, слабого удавят, а ничтожество сделают своим предводителем».

Да и как, собственно, оно вообще уж могло быть хоть сколько-то на деле явно иначе?

Раз весь этот бранный мир уж как есть до чего еще изначально управляется никак не рассудком, а бесами титанических, хищных амбиций.

И для тех вполне спокойных, до конца выверенных и по-настоящему строго же логичных построений в такие моменты попросту никак совсем не остается места.

А потому сколько вот ни указывай перстом на светлое грядущее, его там нет — и не будет.

Добраться до него будет возможно разве что только скольведь медленно, осторожно идя, причем при этом глядя под ноги и вполне конкретно отвечая за буквально каждый сделанный шаг.

А тупо толкаясь в безлико серой толпе, можно будет прийти лишь в одно только место — в «никуда», из которого возврата никак так попросту вовсе и не существует.

И главное при всем том первоначальный импульс был дан никак не большевиками.

Он был рожден той самой вечно кипящейся, по любому поводу и без повода до чего раздраженной и крайне взбудораженной левой интеллигенцией.

И это именно она весьма так основательно разогрела многоголосую революционную массу до того самого

состояния истерического перегрева, то есть до почти полного утраты всякого здравого рассудка.

Большевики разве что лишь воспользовались тем, что уже было некогда еще ведь заранее подготовлено.

А потому и стоит разом подчеркнуть предельно же ясно: ничего подобного не могло случиться вовсе случайно.

То есть все произошедшее никак не было одним только капризом скверной истории и не было оно совсем внезапным сбоем в общем и целом более-менее правильно работающего механизма.

А было это самым закономерным итогом долгого и последовательного процесса, в котором идеи оторвались от жизни, а слова — от ответственности.

88

И именно в такие адски жаркие объятия революционного соблазна

людей и подталкивает сладкоречивая литературная братия

— часто так целиком состоящая из всякого безродного племени бородатых мыслителей, а также и всевозможных беспочвенных прорицателей.

А наряду с ними всегда же находится немало тех искренних, но глубоко безответственных благожелателей, истово желающих весьма искрометного счастья для всего рода людского сразу и без остатка.

И вот именно на этой зыбкой почве они с самой поразительной самоуверенностью и впрямь начинают вещать о грядущем рае сказочных и якобы совсем уж

неизбежных благ.

И речь тут, разумеется, идет именно о том самом будущем достоянии, которое, по их убеждению, непременно еще станет всеобщим сразу после свержения лютой ненавистной царской тирании.

Но при этом упускается из виду вещь до чего предельно простая и вовсе неудобная: подавляющее большинство обывателей почти никогда не задумывается о политическом строе, при котором живет, работает и ест свой скудный хлеб.

И очень часто — каким бы он ни был на самом-то деле — он им вполне так кажется и светлым, и справедливым, и даже в каком-то смысле святым.

И именно поэтому подтолкнуть массы к резкому отрицанию привычного порядка

проще всего не рассуждениями, а воззваниями и художественными образами.

Любое высокохудожественное, массово доступное описание событий

неизбежно придает импульс любому общественному процессу — независимо от того, ведет ли он к созиданию или к разрушению.

И здесь проявляется одна из самых тревожных закономерностей: то, что ведет к деградации общечеловеческих ценностей, усваивается обществом куда быстрее и легче, чем любые сложные, осторожные и рассудочные разговоры о подлинном добре и реальном благе.

В итоге смелые ожидания некоего абстрактного «лучшего бытия» оказываются для масс попросту никак совсем

неудобоваримыми.

А потому все эти воинственные чаяния на деле оказываются вовсе так явно бесплодны в смысле какого бы то ни было реального духовного усовершенствования широкого общественного организма.

Они возбуждают, разогревают, дезориентируют — но никак при этом не созидают.

И вместо внутреннего роста оставляют после себя одну лишь усталость, разочарование и явную готовность вновь поверить в очередную до чего простую и губительную сказку.

89

Однако строить все новые и новые благие — да притом еще и очаровательные — планы никому, разумеется, вовсе никак совсем оно не возбраняется.

Это занятие довольно безопасное, вдохновляющее и почти всегда очень даже удобное.

Зато от всего того действительно нелицеприятного человек, доверху пресыщенный внешней культурой, отрекивается мгновенно — и притом с какой-то почти щенячьей радостью.

И происходит это во многом именно благодаря все той же литературе и создаваемым ею ярким, выпуклым образам.

Причем взялось подобное никак не из воздуха.

Оно родилось вместе с тем благостным дуновением чрезмерно слащавых, наставительно благожелательных книг самых разных жанров, где реальность сглажена, страдание эстетизировано, а зло представлено в крайне удобной для всякого чувствительного ума душещипательной форме.

И именно сила таланта автора определяет тяжесть удара,

который он затем и наносит стенам того дома, чья крыша — хороша ли она или плоха — все же как-никак укрывала граждан от ненастья, более чем неизбежно приносимого всякой лютот анархией.

Возьмем, к примеру, Льва Толстого.

Вместо того чтобы рассматривать армию как оплот державности, он во многих своих размышлениях пытался переиначить само мироздание так, чтобы над ним засияла звезда всеобщего счастья и братской любви.

Разумеется, делал он это не всегда и не напрямую.

Но даже там, где подобных призывов формально нет, в его мировоззрении присутствует элемент нравственного разоружения — такого разоружения, при котором зло становится не побежденным, а лишь морально совсем отвратительным для всякого чувствительного читателя.

И вот здесь и возникает опасная подмена: зло не уничтожается — оно просто становится эстетически неприемлемым.

А это совсем не одно и то же.

90

Лев Николаевич Толстой нередко выступал с предельно жесткой и почти безапелляционной критикой военной среды. А от подобного нравственного разоружения общества какого-либо добра ожидать было крайне так сколь еще трудно.

В результате из такого морального обличения выросло не столько очищение, сколько совсем иная крайность — презрение к самой идее воинской службы как таковой.

И вот он тот весьма характерный пример мышления

Льва Толстого взятое автором из его «Севастопольских рассказов»:

«...Я люблю, когда называют извергом какого-нибудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллионы.

Да спросите по совести прапорщика Петрушова и подпоручика Антонова и т. д., всякий из них маленький Наполеон, маленький изверг и сейчас готов затеять сражение, убить человек сотню для того только, чтоб получить лишнюю звездочку или треть жалованья».

Для своего времени это, безусловно, была вполне вот настоящая правда.

Но правда — дьявольски однобокая.

Толстой видел и показывал честолюбие, карьеризм, холодный расчет, скрытый за громкими словами о долге.

Однако подобная перспектива почти не оставляла места для иных мотивов — для подлинного служения, самопожертвования, внутренней дисциплины.

И когда подобная мысль, облаченная в гениальный художественный образ, начинает восприниматься как универсальная формула, она постепенно подтачивает саму основу воинского авторитета.

Парадокс же заключается в том, что ослабление морального уважения к армии не уничтожает амбициозных людей — оно лишь освобождает дорогу тем, кто напрочь лишен всякой нравственной рефлексии.

На смену людям сомневающимся приходят люди крайне бесстыдные.

И тогда во главе войска и оказываются никак не те, кто мучительно размышляет о цене человеческой жизни, а те,

кому подобные размышления попросту явно чужды.

Так нравственная критика, задуманная как очищение, может обернуться ослаблением иммунитета — и именно в этом состоит трагическая двусмысленность великого художественного слова.

91

Василий Гроссман в романе «Жизнь и судьба» безжалостно прошелся по тем, кто с великой легкостью распоряжается жизнями людей, прикрываясь при этом громкими словами о «необходимых контрнаступлениях» и «высших стратегических целях».

Он показал цену подобных решений — не в штабных сводках, а в человеческой крови и сломанных судьбах.

Да только откуда вообще берется эта самая готовность бросать людей в самое пекло ради неких аморфных и абстрактных идей?

Можно вот предположить, что еще задолго до сталинской эпохи в общественном сознании накапливались сомнения в самой так сказать ценности государственности, дисциплины, воинской иерархии.

И если Толстой беспощадно разоблачал честолюбие и карьеризм военной среды, то позднейшая реальность воплотила уже не тот самый его нравственный протест, а ту до чего еще обезличенную, безжалостную машину, которую он и пытался собственно обличить.

Однако из тихого и пасторального XIX века явно никак невозможно было разглядеть грядущую вакханалию XX столетия.

Тогда еще казалось: перемены принесут очищение, свободу,

обновление.

И почему бы не поверить, что все еще может стать действительно лучше?

Но стоило ли во имя этой надежды столь настойчиво расширять устоявшиеся веками основы?

Разрушить легко — заменить куда труднее.

История показала: нравственная критика, лишенная всякого чувства меры, способна невольно ослабить те структуры, которые при всех своих пороках удерживают общество от распада.

И если фундамент подтачивается слишком долго, на его месте вырастает не гармония, а хаос.

Возможно, Толстой стремился очистить нравственную атмосферу своей эпохи.

Но всякая великая мысль, выходя за пределы своего времени, начинает жить собственной жизнью — и не всегда в том направлении, которое желал ее автор.

92

Лев Толстой — да и многие ему подобные — словно так только вот и сидели перед старым, раскидистым пнем давно опостылевшей жизни и искрили мыслью лишь об одном: как бы поскорее выкорчевать его к чертовой матери.

Однако в своих размышлениях они едва ли допускали главное — что им по силам окажется разве что погубить молодую поросль, тогда как сам пень так и останется торчать в земле, до чего еще обильно удобренной всякой напрасной людской кровью.

Потому что для настоящего искоренения недостаточно ни

слов, ни даже гениальных книг.

Для этого пришлось бы попросту уничтожить все ныне существующее человечество и затем заново создать его — в ином, более светлом и просвещенном облике.

И кто-то действительно вознамерился осуществить именно этот кроваво-красный замысел.

Но вовсе он явно опростоволосился и просчитался.

Ибо «великое обновление» на деле воплощают именно те, кто загодя поворачивает оглобли обратно — ко всему тому стародавнему, примитивному, до конца и поныне ведь не изжитому способу дремуче эгоистического существования.

Светлый путь в подобных обстоятельствах превращается в одно лишь внешнее покрывало сладковатой идеологии, тогда как внутри воцаряется тьма фанатичной, бездушной канцелярищины.

Ее адепты — на всех ступенях пирамиды власти — неизменно преисполнены рабской преданности очередным всесильным владыкам.

Пафос обновления вырождается в дисциплину всеобщего до дрожи в коленях страха.

Мечта о свободе — в жесткий регламент.

И все же часть рьяных интеллектуалов более чем весьма искренне верила, что в этом бурном и крайне осатаневшем процессе явно так зреет конец всякого сурового насилия над душой и плотью простого человека.

Им казалось, что сквозь хаос проступает рассвет.

Но рассвет оказался всего лишь слепящим глаза блеклым прожектором будущего невозможного к осуществлению

путем насилия над плотью и душами людскими.

93

И главное — все эти сколь еще суетливые поиски некоего нового и якобы ослепительно светлого будущего в конечном уж итоге в их устах явно оказываются никак не более чем трухой, осыпающейся из гнилой колоды дремучего духа самой так до чего отъявленной демагогии.

Она слепо сеет ненависть и проливает народную кровь во имя чисто внешне величественных, но по всей сути своей крайне скороспелых и совершенно пустых идеалов.

Их льстиво-ласковое словесное обрамление служит одним лишь и только блеклым прикрытием промозгло-серой действительности, где бессмыслица выдается за чудо, а показуха — за успех.

После наиболее первых ослепительно ярких дней мнимой свободы светлые мечты о ближайшем будущем совсем незаметно и почти бестрепетно перерождаются в самое обыденное торжество наиболее темных свойств всего человеческого духа.

И происходит это именно потому, что исключительно так тяжелая телега общественного быта, поставленная впереди лошади, неизбежно сдает назад — и, откатываясь, давит буквально все на своем кровавом пути.

И она ведь само собой даже и безо всякого злого умысла явно так поворачивает оглобли к тому, что будто бы было некогда уж весьма окончательно изжито, но в действительности лишь временно прикрыто тонким дерном новой цивилизованной оболочки.

Теперь же в условиях наконец-то свершившейся революции все

это вновь выползло наружу.

Раз как-либо иначе оно и быть уж собственно так никак не могло.

Поскольку этого сколь еще настойчиво требовали сами до чего так строгие условности всего того более чем весьма «невозмутимо» массово-идейного жития-бытия», столь гордо же ныне объявленного самой наивысшей формой общественного существования.

И вот они те особенно наглядные строки, некогда безжалостно вымаранные цензурой из произведения донского атамана Краснова, причем именно за их более чем болезненную прямоту.

И ведь главное в них содержится почти безысходно ясное подтверждение всего того уж сказанного выше.

Примечательно, что печатные издания долго обходили их молчанием — однако в аудиоверсии они все же ныне до чего еще явно представлены.

Вот этот самый фрагмент.

Генерал Краснов, «На внутреннем фронте»:

«- Вы — генерал Краснов? — обратился итатский ко мне.

— Да, я генерал Краснов, — отвечал я, продолжая лежать.

— А вам что от меня нужно?

— Господин комиссар просит вас немедленно прибыть к нему для допроса, — отвечал он.

— Станный способ приглашать для допроса генералов вваливаясь к ним с вооруженной командой и наводя панику на несчастных хозяев, — сказал я.

— ТАК ДЕЛАЛИ ПРИ ЦАРСКОМ РЕЖИМЕ, —

ВЫЗЫВАЮЩЕ ОТВЕТИЛ МНЕ.

— МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. — ВЕРОЯТНО ВЫ ДЛЯ ТОГО И СВЕРГАЛИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, ЧТОБЫ ПОВТОРЯТЬ ВСЕ ТЕМНЫЕ СТОРОНЫ ЕГО ЦАРСТВОВАНИЯ, — СКАЗАЛ Я».

(Выделено мной для сущей наглядности — Авт.)

94

Но все это явно так сказано еще слишком уж необычайно мягко.

На деле революция оказалась фактически призвана никак не стереть в труху все то стародавнее темное прошлое, а во многом сколь вполне успешно воспроизвести самые мрачные его черты — только лишь в ином, куда поболее радикальном и системном виде.

И главное при всем том намерения ее вдохновителей, безусловно, декларировались как самые наилучшие.

Однако жизнь не улучшается одними только громкими декларациями.

Она вполне меняется лишь тогда, когда повышается сознательность и политическая зрелость всего того ныне существующего общества.

А подобное никогда не совершается до чего только резким скачком.

Это будет возможно разве что лишь исключительно так в результате самого ведь последовательного воспитания нескольких поколений — воспитания разностороннего, полностью до конца свободного от тенденциозности и всякого догматического нажима.

И уж тем более розовые мечтания о грядущем счастье никак

не следовало бы объявлять единственно верной дорогой для всех и каждого.

История не терпит монополии на истину.

Интеллигенция вполне могла бы подать народу совсем иной пример — пример трезвого, гуманного и никак не восторженно-ослепленного отношения к повседневной правде жизни.

Не разрушать тьму невежество вместе со всем тем светлым, что в нем все-таки было, а постепенно просвещать массы простого народа.

Не возбуждать их против всего и вся, а постепенно реформировать всю эту до чего отчаянно несветлую жизнь. Медленное, взвешенное и последовательное изменение приземленных реалий начала прошлого века действительно могло бы быть явно усвоено народом — если бы оно на деле преподносилось народу не в форме страстных манифестов и молний огненных резолюций.

И, пожалуй, главное — подобные идеи должны были бы впитываться не напрямую через книги, столь откровенно обнажающие суровую правду во всей ее крайне суровой наготе, а косвенно: через живые, искренние, человеческие взаимоотношения между мыслящей частью общества и теми, кто только еще лишь разве что начинал приобщаться к чтению и размышлению.

И действовать тут нужно бы никак не через броский лозунг — а именно так через личный пример.

Не через жуткое обрушение всего того старого мира — а через самое постепенное изменение человека где-то внутри

него.

95

И главная, по-настоящему глубокая трещина на светлом челе современной цивилизации заключена, пожалуй, как раз именно в том, что социальное зло до чего только нередко выступает в обличье благости и величия.

Оно вполне умеет казаться возвышенным, исторически неизбежным и даже нравственно оправданным.

Особенно легко оно овладевает умами тех, кто решительно и навсегда отвернулся от всякой веры в Создателя.

Разумеется, нельзя исключать, что когда-нибудь атеизм обретет свою окончательно верно выстроенную и строго научную форму, и тогда, быть может, все мы, верящие в Бога, окажемся никак совсем неправы.

История человеческой мысли нисколько не знает каких-либо окончательных приговоров.

Однако в конце XIX — начале XX века произошло не научное осмысление безбожия, а скорее эмоциональный разрыв с традицией.

Молодые люди, с воинственным пылом сбросив с себя цепи опостылевшей веры, уверовали в нечто иное — в самую так сказать возможность самого мгновенного всего этого переустройства мира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.